



Виктор
ПЕТЕЛИН

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
XX века

1890-е годы — 1953 год

Виктор Петелин

**История русской литературы
XX века. Том I. 1890-е годы –
1953 год. В авторской редакции**

«Центрполиграф»

2012

Петелин В. В.

История русской литературы XX века. Том I. 1890-е годы – 1953 год. В авторской редакции / В. В. Петелин — «Центрполиграф», 2012

Русская литература XX века с её выдающимися художественными достижениями рассматривается автором как часть великой русской культуры, запечатлевшей неповторимый природный язык и многогранный русский национальный характер. XX век – продолжатель тысячелетних исторических и литературных традиций XIX столетия (в книге помещены литературные портреты Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. Г. Короленко), он же – свидетель глубоких перемен в обществе и литературе, о чём одним из первых заявил яркий публицист А. С. Суворин в своей газете «Новое время», а следом за ним – Д. Мережковский. На рубеже веков всё большую роль в России начинает играть финансовый капитал банкиров (Рафалович, Гинцбург, Поляков и др.), возникают издательства и газеты («Речь», «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «День», «Россия»), хозяевами которых были банки и крупные предприятия. Во множестве появляются авторы, «чуждые коренной русской жизни, её духа, её формы, её юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше ни меньше, как скучного инородца» (А. П. Чехов), выпускающие чаще всего работы «штемпелёванной культуры», а также «только то, что угодно королям литературной биржи...» (А. Белый). В литературных кругах завязывается обоюдоострая полемика, нашедшая отражение на страницах настоящего издания, свою позицию чётко обозначают А. М. Горький, И. А. Бунин, А. И. Куприн и др. XX век открыл много новых имён. В книге представлены литературные портреты М. Меньшикова, В. Розанова, Н. Гумилёва, В. Брюсова, В. Хлебникова, С. Есенина, А. Блока, А. Белого, В. Маяковского, М. Горького, А. Куприна, Н. Островского, О. Мандельштама, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева, И. Бабея, М. Булгакова, М. Цветаевой, А. Толстого, И. Шмелёва, И. Бунина, А. Ремизова, других выдающихся писателей, а также обзоры литературы 10, 20, 30, 40-х годов. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

© Петелин В. В., 2012
© Центрполиграф, 2012

Содержание

Пролог	6
Часть первая. На рубеже двух веков	23
Литературные портреты	27
Лев Николаевич Толстой	27
Антон Павлович Чехов	39
Владимир Галактионович Короленко	51
Часть вторая. Русская литература конца XIX и 10-Х годов XX века	58
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Виктор Петелин

История русской литературы XX века. Том I. 1890-е годы – 1953 год. В авторской редакции

*Галине Ивановне – за любовь и верность, и нашим детям Ивану,
Алексею и Ольге Петелиным с глубокой благодарностью за участие в
моей творческой судьбе*

Пролог

В беспощадном XX веке шла ожесточённая борьба между различными группами в литературе, искусстве, в политике, в школе, в высшем образовании, науке, во всех сферах общественной жизни, борьба бескомпромиссная, когда для победы все средства хороши. Борьба эта началась давно, ещё до Февральской и Октябрьской революций, до Гражданской войны. Не обо всех этапах её пойдет здесь речь, а лишь о самых ярких и очевидных. Не прекращалась она в русской литературе XX века, острой и напряжённой стала в наше время, в конце XX и начале XXI века, особенно при создании учебников, учебных пособий по истории русской литературы XX века, определяющих её суть и направление. Есть в этой борьбе удачи, есть и поражения; есть подвижники, есть и дешёвые дельцы, послушные указаниям Дж. Сороса, нанёсшего своими грантами тяжелейший вред литературной и исторической науке. Достаточно прочитать или хотя бы перелистать такие книги...

Особенно много схваток происходило и происходит вокруг ключевой, основополагающей фигуры в литературе XX века – Михаила Александровича Шолохова и его гениальной книги «Тихий Дон». А всё произошло потому, что М.А. Шолохов в письме Л.И. Брежневу открыл то, что от того давно скрывали или вуалировали под благовидными предлогами. «Особенно яростно, активно ведёт атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний, – писал Шолохов 14 марта 1978 года. – Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру... В свете всего сказанного становится очевидной необходимость ещё раз поставить вопрос о более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, правильном освещении её истории в печати, кино и телевидении, раскрытии её прогрессивного характера...» (*Шолохов М.А. Письма 1924–1984. М., 2003. С. 524*). Это продолжается и до сих пор. Как воздаяние за пророчество и предвидение в либеральных кругах широко распространялась ненависть к Михаилу Шолохову.

Достаточно прочитать книги А.И. Солженицына «Двести лет вместе» в двух томах (М., 2001–2002) и И.Р. Шафаревича «Трёхтысячелетняя загадка. История еврейства из перспективы современной России» (СПб., 2002), чтобы понять остроту идеологии вопроса о роли евреев и других народов в русском обществе. И в истории русской литературы XX века порой шла бурная полемика между различными литературными группами, происходили сложные взаимообогащающие и взаимоотталкивающие процессы между русскими писателями и евреями, в том числе и сионистами, и другими народами, пишущими на русском языке. Недопустима торопливость в решении столь сложных и противоречивых вопросов. И не нужны искривления, как это случалось в спорах, нужна объективность и совесть.

Как только вышла книга «Двести лет вместе», Марк Дейч тут же дал рецензию в одной из популярных газет под громким названием «Бесстыжий классик. Александр Солженицын как зеркало русской ксенофобии», а газета напечатала статью с продолжением в рубрике «Бочка дёгтя». В статьях М. Дейча подробно говорится о лживости А. Солженицына в трактовке известных событий: «Во втором томе «исследования», начинающемся февралём 17-го, автор уже не претендует на научность своего опуса. Понятно почему: события не столь уж давние, документов и свидетельств – множество, а кое-кто даже ещё что-то помнит. Поэтому во втором томе Солженицын – публицист. Причём публицист не только скучный (по выражению Татьяны Толстой), но и лживый.

Доказать это не слишком сложно... противно». Преодолеем брезгливость, полистаем второй том солженицынской публицистики... «Население России – в целом – сочло новый террор – «еврейским террором», – пишет Солженицын. И ещё об одном. М. Дейч цитирует А. Солженицына:

«В книге «Двести лет вместе» бесстыжий классик пишет: «Участниками войны считались и 2-й, и 3-й эшелон фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина, многие технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и ещё вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, – и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой».

Не только бесстыжие – ещё и подлые строчки» (Московский комсомолец. 2003. 25–26 сентября).

Л. Малиновский, прочитав работы А. Солженицына и И. Шафаревича, написал статью «Русские и евреи: 200 лет врозь» об особенностях иудейского и православного нравственного миропорядка, ссылаясь на исторические и библейские документы. И разница оказалась существенная («Экономическая газета»).

Об этой существенной разнице в устройстве нравственного мирового порядка обстоятельно рассказано в книге Игоря Шафаревича «Трёхтысячелетняя загадка», в которой прежде всего говорится, что «сейчас очевидна необходимость выработки осознанного, национального отношения к феномену «еврейства». В XX веке Россия пережила две катастрофы революционного характера: 1917 г. и переворот конца 1980—1990-х годов, которые вместе настолько её потрясли, что сейчас под вопросом находится её дальнейшее существование. В обеих этих катастрофах громадную роль играла еврейская часть населения России. В обоих случаях народ оказался расколот – в 1917 г. на «белых» и «красных», в 1990-е годы – на «патриотов» и «демократов». И в обоих случаях еврейство как целое определённо связало себя с одной стороной: с совершившимся переворотом. Это – фундаментальный исторический факт, касающийся и русского, и еврейского народа. Он должен быть как-то осознан обоими народами – и еврейским, и русским, на этом примере видно будет, насколько способен каждый из этих народов осознать свою историю...» (Шафаревич И. Трёхтысячелетняя загадка. С. 351). Некоторые еврейские публицисты, В. Топоров, С. Марголина, пишут о каком-то разрешении этого вопроса, но И. Шафаревич, приводя исторические факты, считает – невозможно решить этот вопрос: «Такая странная, казалось бы, ситуация: «вопрос» есть, а «решения» – нет» (Там же. С. 354).

Подводя итоги своего исследования, И. Шафаревич приходит к выводу, с которым трудно не согласиться: не надо претендовать на окончательный ответ в решении длительных отношений между русскими и евреями, это «загадка», а разгадки тоже нет. Надо собрать факты, документы, сформулировать выводы. «А на этой почве попытаться нащупать некоторую линию поведения, хотя и сознавая, что она основывается на «неполной информации». Ведь в жизни мы никогда «полной информацией» не обладаем...» Это основной принцип и предложенной работы: «Он следует мысли Гёте: «понять постижимое и спокойно принять непостижимое» (Там же. С. 364).

Многие публицисты, критики, философы в эти годы стремятся «понять постижимое и спокойно принять непостижимое», как завещал великий немец Иоганн Вольфганг Гёте. Развивая традиционное представление о взаимодействии и противостоянии русских и еврейских писателей в русском обществе, Александр Байгушев, многолетний советник при Политбюро ЦК КПСС, автор книг об идеологической борьбе в сферах высшей партийной власти, писал: «Уже тогда, при крушении СССР, вопли о «демократии» прикрывали элементарное желание нарушить послебрежневский баланс сил. Брежнев выстроил внутривластную доктрину на равном полезном использовании динамики двух крыльев державного «Двуглавого орла» (так он сам называл свою доктрину) – на соревновательном балансе между либеральной, ориентированной на «общечеловеческие ценности» «Иудейской партией внутри КПСС» (левое крыло брежневской КПСС) и почвенной, охранительной, державной «Русской партией внутри КПСС» (правое крыло брежневской КПСС). На этом обоюдном полезном балансе сам Брежнев продержался восемнадцать лет, добившись наибольшего мирного расцвета советской власти за всю её историю. Никаких репрессий, никаких поисков оппортунистов и разгромов оппозиции. Процветание общества прежде всего за счёт реального демократического баланса сил! Об этом секрете брежневского процветания либералам прекрасно известно: всё брежневское время были они не последними фигурами в партийном аппарате. Но полезный, динамичный баланс сил их не устраивал – либералы решили захватить всё – и подавились. Теперь они оправдываются...» (*Байгушев А. Машинист в стане русских воинов // Завтра. 2007. Июнь. № 25*). В этой честной статье А. Байгушев, много повидавший действия партийных «вождей», разоблачает А. Ципко и Г. Явлинского как публицистов, яростно выступавших против «третьего срока» президентства В.В. Путина, который за свои два срока президентства разгромил горбачёвско-ельцинскую «перманентную сдачу территории русской державы под западную колонию»: «После Мюнхенской речи Путина мы уже не колонизируемые «туземцы»... Мы опомнились, пошел обратный процесс восстановления гордой великой Империи» (Там же).

В последние двадцать лет на Россию обрушились коренные перемены во всех областях человеческой жизни. Пришёл к власти Б. Ельцин, назначивший министрами и помощниками чаще всего людей неславянского происхождения, которые, чуть-чуть поучившись в американских и европейских университетах, в своих решениях и постановлениях задумали повернуть путь православной России на американский и европейский лад. И многое успели сделать: создали олигархов-миллиардеров и хорошо оплачиваемую прослойку телевизионных работников, оставив основную часть населения, рабочих, учителей, врачей, инженеров, учёных, писателей в стороне, разорив заводы и фабрики, колхозы и совхозы и таким образом устранив рабочий люд от производства, ввергнув в тяжелейшее положение, когда приходилось искать другую работу, чтобы прокормить семью. Сотни и тысячи статей и очерков написаны с разоблачением либеральной политики ельцинских реформаторов. Но самое удивительное в том, что все телеканалы показали фильмы о Б. Ельцине и В. Черномырдине как о великих людях, внёсших вклад в развитие нашего современного общества, – а они разрушили страну и обрекли на обнищание миллионы людей, вымарали из паспортов принадлежность к национальности. У чеченцев осталась, у татар осталась, а у русских нет национальности, нет тысячелетнего прошлого, нет истории, которую режиссёры кино и театра переделывают на свой, отрицательный лад... Нет основ для патриотизма, а патриотизм – это высшее выражение духовности человека, готовность к борьбе за своё Отечество. Это двадцатилетие разорило наше общество, отбросив его на последние строчки в рейтинге существующих государств.

В последнее время всё чаще вспоминают объективную и многогранную книгу «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годов» (М., 2004), подготовленную сотрудниками Счётной палаты, которую иные публицисты называют подвигом, настолько ясно и глубоко представлены там процессы прямого грабительства народного имущества. Но дело ведь не только в грабительстве имущества,

которое сопоставимо с потерями страны от гитлеровской оккупации, грабительство было связано и с глубокими процессами духовного опустошения русского народа, духовной деградации, духовного обнищания, аморальности и культурного падения.

Причём духовная деградация идет сверху, когда в систему обучения вводятся такие реформы, что ведут молодого человека к роли послушного раба. «Сначала новый революционный демократ Фурсенко, – писала «Литературная газета» в редакционной статье «Плачь, русская земля», – попытался поверить гармонию алгеброй, втиснув литературу в тесты, затем отменил обязательный экзамен по этому предмету, а теперь под угрозой отмены и сам предмет.

«Плачь, русская земля!» Мы стремительно возвращаемся в мир «тёмного царства», где здоровые и обученные технике безопасности покорные исполнители хорошо знают своё дело. «И неоткуда им ждать отрады, негде искать облегчения: над ними бурно и безотчетно владевает бессмысленное самодурство» (Литературная газета. 2011. 2–8 февраля). Эти строки, опубликованные много лет тому назад, проецируются и на современное русское общество, словно бы отброшенное на сто пятьдесят лет в прошлое, когда существовало «бессмысленное самодурство». Столь же «бессмысленное самодурство» прозвучало и в решениях кремлёвских «либералов», выдвинувших «Предложения об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении», в основе которых – отрицание основ советской цивилизации и «десталинизация». Многие газеты и журналы отвергли это мракобесие.

В статье «Капитал справедливости» академик О. Богомолов, известный экономист и писатель, прямо говорит о больших недостатках в современном управлении страной, что два десятилетия реформируется «по западным неолиберальным лекалам, которые, как показал опыт, не подошли к условиям России. Да и сами эти лекала оказались вчерашним днём идеологической моды». Ссылаясь на ряд выступлений известных учёных мира, О. Богомолов приходит к выводу, что для разработки стратегии нашего развития необходимо ставить вопрос о роли государства и отказе от господствовавших ультралиберальных рецептов: «Проводники рыночных реформ призывали к уходу государства из экономики и не терпели никаких контраргументов. Самый действенный рычаг преобразований – государственный механизм управления и соблюдения порядка – оказался у нас разлаженным, недостаточно компетентным. Он разъеден коррупцией, лишён иммунной системы, очищающей от пороков и страхующей от грубых ошибок в политике. Необходимость его оздоровления и укрепления очевидна. *Тем более что частный бизнес в своём большинстве скомпрометировал себя ненасытной жаждой наживы, социальной безответственностью, аморальностью, пренебрежением национальными интересами и законопорядком*» (Литературная газета. 2011. 13–19 апреля. – Курсив мой. – В. П.).

Выделенные слова о многом говорят, прежде всего о расколе в обществе. «В стране – масштабная бедность и скудость миллионов граждан, – продолжал О. Богомолов. – Казалось бы, бережливость и скромность должны поощряться. Однако наши СМИ, особенно ТВ, всячески рекламируют и оправдывают бездумную роскошь и расточительство российских «нуворишей». Жизнь простых людей для них не существует... Социальная справедливость – извечная нравственная норма, неотъемлемая часть жизни людей. Без её соблюдения не может быть здоровым нравственный климат в обществе, как и невозможна здоровая экономика. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пишет: «Экономическая система, построенная только на стремлении к наживе, на равнодушии к судьбе человека, на пренебрежении к нравственным нормам, лишена устойчивости и может рухнуть в любой момент, погребая под своими обломками судьбы людей. Безнравственная экономика неэффективна, более того – нежизнеспособна и опасна». Академик О. Богомолов говорит и о подборе кадров: нужны неподкупные, добросовестные и компетентные люди, протестует против выбора лояльных и близких, но не прошедших «иерархическую лестницу», утверждает – нужна «селекция лучших кадров государственных деятелей всех рангов». И главная беда – коррупция: «Так, по критерию сдерживания

коррупции в государственном аппарате, она (страна. – В. П.) оказывается в конце списка, на 180-м месте...» – таковы выводы О. Богомолова.

В добротной статье Юрия Полякова «Лезгинка на Лобном месте» даётся исторический анализ того, как входили малые «этноты» в большую «метрополию», было в этом и плохое, и хорошее, но «метрополию» сохранила своё единодержавие: «И на крутых поворотах истории коллективный разум народа подсказывал: а с русским-то получше будет! От добра добра не ищут!» (Литературная газета. 2011. 2–8 февраля).

В интересном материале писателя Сергея Шаргунова «282. Интернет «посягнул на власть как основу государства» есть фразы, осуждающие упомянутую статью из государственных кодексов, карающую за «возбуждение ненависти или вражды». И попадают под эту статью многие нетрадиционно мыслящие, и привлекаются к судебной ответственности: «Мы живём в чудовищно фрагментарном обществе, где у всех свои мученики и герои, но чувство справедливости растёт везде. Стремительно. И не нужно быть пророком, чтобы предугадать: навстречу этому чувству будут расширяться толкования пресловутой статьи...» (Московский комсомолец. 2011. 16 июня).

В статье «Гонители и гонимые, или Кто ответит за разрушение российского образования?» профессор МГУ Валентин Недзвецкий, объективно проанализировав сложившуюся ситуацию, открывает имена тех, кто является «лишь ретивыми исполнителями предначертаний господ из иной сферы»: Герман Греф, Эльвира Набиуллина, «её трогательно единодушный супруг» Ярослав Кузьминов, Александр Адамский, Анатолий Пинский, академики РАО Александр Кондаков и Александр Асмолов (к этим фамилиям добавим ещё и имя главы Департамента образования города Москвы Исаака Калины), а эта сфера – «государственная финансовая политика», чётко и прямо написал: «Далёкие от национально-ментальных основ и подлинных задач образования, эти люди заботились не о повышении его качества, конкурентоспособности и гарантированной Конституцией РФ доступности, а только о неуклонном сокращении выделяемых на образование бюджетных средств, и без того сравнительно с европейскими странами и США позорно скудных...» (Литературная газета. 2011. 31 августа – 6 сентября). В итоге Валентин Недзвецкий восклицает: «Да, потребителям многомиллионных зарубежных дворцов и вилл, яхт, машин и самолётов русская литература, как, впрочем, и шедевры мировой, действительно ни к чему, потому что у них и их наследников совсем иные представления о важнейших человеческих ценностях. Но неужели в нашей огромной стране начисто исчезли люди творческие, жаждущие и умеющие прежде всего созидать и отдавать, а не только присваивать да потреблять? Или страна вдруг перестала в них нуждаться?..» (Там же).

Авторитетный оппозиционер депутат Государственной думы Г. Гудков на вопрос, какие же причины могут привести к катастрофе в России, ответил: «Инфраструктурный кризис, рост цен, дикая коррупция, грабёж в сфере ЖКХ, война на Кавказе и т. д. – все это следствие одной причины: монополизации власти людьми, чья цель – незаконное обогащение. Всем рулит бюрократическая номенклатура, которая срослась с некоторой частью крупного капитала. Групповые интересы для неё важнее национальных. Единственная цель – чтобы им не мешали хапать» (Московский комсомолец. 2011. 17 июня).

Дикая коррупция, грабёж ЖКХ, Абрамович, Березовский, Гусинский, Чубайс и их деяния имеют национальную почву. Обычно вспоминают царских воевод, Сквозник-Дмухановского, дескать, в России всегда воровали, но то, что происходит сейчас, – ни с чем не сравнимо. В Японии когда-то финансами занимался абрамович, потери были почти невозполнимы, но, как только от него освободились, кража финансов прекратилась. А у нас же абрамовичи повсюду, а толк от них один – на Западе возникнет ещё один дворец, будет построена ещё одна яхта и пр. и пр. Так что то, что сейчас происходит в России в сфере управления и бизнеса, – это национальная черта главных банкиров и бизнесменов.

Приведённые высказывания и материалы ученых, политиков, писателей лишь подтверждают, что трагедия, отметившая XX век, когда страну в 1917–1922 годах покинули лучшие, талантливейшие люди, продолжается и в наши дни.

А это даёт нам право посмотреть на XX век чуть-чуть по-иному.

1

В конце февраля 1909 года на квартире известного актёра и режиссёра Николая Николаевича Ходотова (литературоведы уже упоминали об этом) устраивались, как обычно, литературные посиделки, на которых кто-либо из присутствовавших писателей или журналистов читал своё сочинение, а потом шло его обсуждение. В этот день читал свою новую пьесу «Белая кость» еврейский писатель Шолом Аш, автор недавней пьесы «Саббатай-Цеви» о еврейском лжепророке XVII века. Начал он писать на иврите, но один мудрый человек посоветовал ему перейти на современный язык, и он стал писать на идиш. Тогда-то и пришла к нему известность. Недавно он побывал у Горького на Капри, прескверно говорил по-русски, но с увлечением и страстью вспоминал о Библии, Махабхарате, задумал написать трилогию о Давиде, Христе, Саббатай-Цеви; Горький обратил на Аша внимание потому, что у него евреи изображены как активные люди, они дерутся, живут общими человеческими радостями и страданиями, он увлекался религиозными сюжетами, тут уж ничего не поделаешь, отец был раввином и привил ему глубокую любовь к религии, её именам и памятникам.

На посиделки пришли писатели, художники, артисты, журналисты, переводчики, критики... «Белая кость» вызвала разноречивые суждения, одни хвалили, другие поругивали. В заключение обсуждения Шолом Аш заявил, что русские читатели не могут понять еврейскую душу, вот и здесь были сказаны слова о главной героине Розе как о хищнице, автор же превозносит её как положительную героиню, сохранившую верность заветам предков. Русские читатели не могут оценить замысла автора; чтобы уяснить замысел автора и понять его героиню, нужно самому быть евреем либо прожить с евреями пять тысяч лет, чтобы понять их устремления, их внутреннюю жизнь, законы их жизни.

Воцарилось загадочное молчание. Лишь Евгений Иванович Чириков, прозаик и драматург, в издательстве «Знание» у него только что вышло собрание сочинений в девяти томах (типичный бытовик, один из критиков сказал о его произведениях, что они «оставляют тяжелое впечатление, потому что являются точным снимком действительности», он изображал помещиков, студентов, купцов, мещан, гимназистов, офицеров, учителей, чиновников, слыл «знатоком нашей провинции», показал уездного обывателя и уозсть его обывательских интересов), – высказал своё мнение, возражая Шолому Ашу:

– Если только евреи могут понять ваши произведения, то и вам не понять русских книг, не понять душу русских и их устремления. Если вы говорите: «Мы – евреи», то и я могу сказать: «Мы – русские».

Но, услышав ропот собравшихся, бессильно махнул рукой. Среди гостей были Аким Львович Вольтинский (Хаим Лейбович Флексер) и переводчик пьесы на русский язык Шайкевич, сын богатого банкира, которые и возроптали против слов Евгения Чирикова, не только возроптали, но и тут же написали заметку об этом событии в еврейскую газету «Фрайнд» (выходила в Варшаве на идиш), а другие газетчики мгновенно подхватили пафос этой клеветнической заметки об антисемитизме и прочих «грехах» русской интеллигенции. Чирикова и других объявили антисемитами, а это было уже серьёзное обвинение.

В газетах появились опровержения Евгения Чирикова, Константина Арабажина, коллективное письмо артистов и писателей, в частности, и хозяина квартиры Н.Н. Ходотова, в котором обвиняли Акима Вольтинского, Шолома Аша и Шайкевича, написавших в газету «Фрайнд», в бестактности, «в безграничной некультурности»: нельзя выносить в печать то, что происхо-

дило в частной беседе и в частном кружке, это глубоко оскорбительно для хозяина дома и для всех, кто присутствовал на этих литературных посиделках. А сейчас эта клеветническая заметка с оскорбительными оценками «треплется на все лады» во многих столичных и провинциальных газетах.

«Наша газета» дала небольшую информацию «Почему мы молчим?» (8 марта 1909 года), в которой объяснила свою позицию, но, когда всплеск этой «истории» превысил нормальные границы, было напечатано «Письмо в редакцию» Константина Ивановича Арабажина под названием «Возмутительная история». Арабажин – критик, историк литературы, из дворян, двоюродный брат Андрея Белого, автор книг «Публичные лекции о русских писателях» и «Л. Андреев. Итоги творчества», читал лекции о Гоголе, Горьком, Толстом, Чехове, – подробно рассказал все как было, указав, что в заметке во «Фрайнде» ситуация была «чудовищно извращена», о чём писали большинство присутствовавших.

Актёр и режиссёр Санин сказал, что пьеса слабая, Арабажин присоединился к этому мнению. «Г. Шолом Аш и его друзья, – писал Арабажин, – недовольные критикой пьесы, заявили, что русские критики не могут понимать еврейской бытовой пьесы потому, что не знают и не понимают еврейского быта. При этом Аш объяснил идею пьесы: его задачей было показать, какое значение имеет «ихес» (чистая аристократическая кровь) для многострадального еврейского народа. Ради нее Роза вышла замуж за Леона. Н.Н. Ходотов очень удачно выяснил, что автору не удалось провести свою идею. Роза не ценит традиций: выбрасывает портреты пророков, оскорбляет память чтимой семьёю матери, очищает её комнату от венков и устраивает в ней контору. Разговор шёл скачками, принимал временами характер личных пререканий между Е.И. Чириковым, с одной, и г. Волынским и г. Шайкевичем, с другой стороны.

Е.И. Чирикова волновали непоследовательность и кружковое пристрастие дружеского кружка Аша – Волынского – Шайкевича. Он это и выяснил в своей речи, ныне им опубликованной».

Далее Арабажин заявил, что он полностью согласен с некоторыми положениями ответного письма Чирикова:

1. Еврейские критики непоследовательны и пристрастны. Они, как, например, Дымов, отрицают быт, кричат «Долой быт!», когда речь идет о русской школе, а между тем тот же Дымов переводит еврейскую бытовую пьесу и тогда все хором выхваляют её. Этим метким замечанием Чириков бросил оппонентам упрек в эстетической неискренности. Попутно г. Чириков укорил Шайкевича в том, что он даже не слушал пьесу, а Волынского в том, что он пришёл только к ужину, что он также не знает пьесы.

2. Арабажин полностью поддерживает Чирикова и в том, что он сказал: «Если мы, русские, не понимаем еврейского быта, то и, наоборот, евреи не понимают русского быта».

3. Арабажин полностью поддержал Чирикова и в том, что он резко сказал об узком национализме некоторой части евреев, вроде Шайкевича и других его приятелей.

4. Он сожалеет, что еврей-критики в Петербурге отрицают быт, а русские его защищают. Арабажин напомнил, что Пушкин «проникался психологией англичан, испанцев, черкес, цыган». Хорошо, сказал Арабажин, что гонимый народ хочет ухватиться за чистую кровь «ихес», но Ходотов сказал, что Ашу это не удалось.

Завершая свою статью, Арабажин написал: «Мне понятна национальная односторонность в представителях гонимой нации, – она продукт травли, преследований и обид. Нужно, однако, подумать, как бы эта односторонность, проявляясь в интеллигентских сферах, не вызвала нежелательной реакции. Я действительно думаю, – прибавлю теперь к сказанному на ужине, – что за среднего обывателя нельзя ручаться, особенно на почве конкуренции: здесь с обеих сторон может возникнуть сплоченность на националистической основе. Возможно, что с одной стороны часть евреев, хотя бы и незначительная, станет под знамя кликушествовающей группы сионизма, а с другой стороны и в русских кругах либеральных профессий может

явиться националистическое настроение, поскольку русские люди сумеют отделить «истинно еврейских людей» от просто евреев, а эти последние не отгородятся от «истинно еврейских» людей, как не отгородились мы от «истинно русских», «истинно польских», «истинно украинских» и т. п. людей: спасение от них только в демократических слоях населения. Но если бы националистическая ненависть победила, – то чего доброго ждать от возбуждения в такой новой обстановке стихийных страстей во многомиллионных массах? Против этого нужно сообща бороться, устраняя недобросовестные приемы и националистические пристрастия. И беседа у Ходотова, – сказал я, – является известным предостережением для всех нас... Демократический антисемитизм – этот социализм для дураков – давно и всюду отжил свои красные дни».

После того как схлынула клеветническая кампания, в полемику ввязались крупные политические силы, такие как Пётр Струве, Николай Милуков, Владимир Жаботинский, Михаил Винавер и др. И спор шёл, конечно, не вокруг того, положительная ли героиня пьесы, как утверждал автор (именно в ней воплотились самые прекрасные человеческие качества, она, дескать, выражает духовную суть еврейского общества, его идеалы, его устремления, а вы, русские, не понимаете суть еврейского национального характера), или отрицательная, как утверждал Чириков (она производит отвратительное, отталкивающее впечатление, злая, эгоистичная, это ошибка автора, она не может быть положительной, она безнравственна, аморальна), спор шёл по глобальным проблемам.

Пётр Струве, прочитав информацию из газет, в том числе и «Нашу газету» от 8 марта за 1909 год, написал, что «инцидент» с г. Чириковым признан «исчерпанным» «и будет, вероятно, скоро забыт», но обострилось и поднялось в умах НЕЧТО и «это нечто есть национальное лицо». Как государственник, как автор статьи «В чем же истинный национализм?», вызвавшей острую полемику, Пётр Струве стал упрекать русскую интеллигенцию в том, что она решительно потеряла национальное лицо. Вот Российская социал-демократическая рабочая партия почему-то назвала себя «российской», а не русской. «Ни один русский иначе, – писал Пётр Струве в статье «Интеллигенция и национальное лицо» (Слово. 1909. 10 марта), – как слегка иронически, не скажет про себя, что он «российский» человек, а целая и притом наирадикальнейшая партия применила к себе это официальное, ультра-«государственное», ультра-«имперское» обозначение. Это что-нибудь да значит. Это значит: она хочет быть безразлична, бесцветна, бескровна в национальном отношении... Для меня важно сейчас подчеркнуть, что – ради идеала человеческой, справедливой и разумной государственности – русская интеллигенция обесцвечивает себя в «российскую». Этот космополитизм очень «государственен», ибо «инородцев» нельзя ни физически истребить, ни упразднить, как таковых, т. е. сделать «русскими», а можно лишь воспрять в единое «российское» лоно и в нём успокоить. Но позвольте мне, убеждённому стороннику «государственности», восстать против обнаруживающейся в этом случае чрезмерности культа государственного начала. Позвольте мне сказать, что так же, как не следует заниматься «обрусением» тех, кто не желает «русеть», так же точно нам самим не следует себя «обрусевать». Прошу прощения за это варварское слово, но его нужно было выдумать, ибо на самом деле интеллигенция давно «обрусивает» себя, т. е. занимается тем, что – во имя своего государственного идеала – безнужно и бесплодно прикрывает свое национальное лицо. Безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть».

В качестве примера Пётр Струве говорит о художнике Левитане: «Если бы я даже был «антисемитом» и если бы конгресс сионистов соборно и официально провозгласил его еврейским художником, я бы продолжал твердить: а всё-таки Левитан был русский (а не «российский»!) художник. И хотя я вовсе не антисемит, а скажу: Левитана я люблю именно за то, что он русский художник...»

Против статьи Петра Струве выступил в своей газете «Речь» Николай Милуков, который ничего путного в рассуждениях учёного не нашёл, а счёл их абсурдными, якобы учёный

ищет «экзотические формулы и гоняется за экзотическими чувствами»: «Аполитизм такого интеллигента последней формации непосредственно ведёт его по наклонной плоскости эстетического национализма, быстро вырождающегося в племенной шовинизм». «Я тоже думаю, что старой русской интеллигенции, святой и чистой в своем блаженном неведении, наступил конец в России с началом новой политической жизни, – писал Николай Милуков в статье «Национализм против национализма!» – Я тоже уверен, что многие и многие жизненные утопии, созданные этой интеллигенцией на почве той самой старой святости, скоро отомрут, чтобы уже не возрождаться больше» (Речь. 1909. 11 марта).

Пётр Струве ответил Н. Милукову: в его статье «нет ни малейшего обсуждения по существу, есть лишь туманные психологические сближения и догадки, которые я должен отклонить, и столь же туманные социологические пророчества...».

В заключение полемики на страницах газет Пётр Струве написал: «И далее: я полагаю, евреям полезно увидеть открытое «национальное лицо» той части русского, конституционно и демократически настроенного общества, которая этим лицом обладает и им дорожит. И наоборот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства. Вот почему, возвращаясь к вопросу, поставленному «Нашей газетой», я скажу и этим закончу: правда в «национальном вопросе» своевременна, и «национальное лицо», о котором я заговорил, есть не Медузова голова, а честное и доброе лицо русской национальности, без которой не простоит и «российское государство» (Слово. 1909. 29 марта).

Аким Волынский начал свою литературную деятельность в 80-х годах, он был хорошо образован, окончил юридический факультет Петербургского университета, знал иностранные языки, увлекался философией, в 1889 году начал печатать свои статьи на различные темы в журнале «Северный вестник», возникший благодаря инициативе и средствам Л.Я. Гуревич. Постепенно мелкие и разнообразные статьи и заметки ушли как бы в прошлое, и Аким Волынский сосредоточил своё литературное внимание на выдающихся русских критиках, предшествовавших ему. И всех он обвинил в том, что при всей их яркости и талантливости они явно упустили возможность быть точными и объективными. «Критика художественных произведений должна быть не публицистической, а философской, – должна опираться на твердую систему понятий известного идеалистического типа. Она должна следить за тем, как поэтическая идея, возникнув в глубине человеческого духа, пробивается сквозь пестрый материал жизненных представлений и взглядов автора», – писал А. Волынский в сборнике статей «Русские критики» (СПб., 1896). Затем он написал книги о Достоевском, Лескове, о Леонардо да Винчи, «Царство Карамазовых», «Книгу ликований» и множество других, потом он увлёкся балетом, но профессионалы холодно отнеслись к его работам: о «Русских критиках» Плеханов написал, что в них «суд и расправа над своими предшественниками (Новое слово. 1897. Кн. 7. Апрель), а много лет спустя Б. Эйхенбаум сказал, что от сочинений А. Волынского «веяло сухим жаром пустыни» (В сб.: *Памяти А.Л. Волынского*. Л., 1928. С. 44).

В своих поисках А.Л. Волынский стремился сочетать иудаизм с христианством, он хотел уйти «в простую еврейскую среду проповедовать Христа». Вот почему так остро он отреагировал на выступление Чирикова.

На эту же тему писал и известный сионист Владимир Жаботинский, назвавший Шолома Аша дезертиром за то, что тот пошёл искать известности в квартире русского артиста и режиссёра. «Вообще нахожу, что евреи пока ничего не дали русской литературе, а дадут ли много впредь – не ведаю», – писал он в одной из четырёх статей, посвящённых этому инциденту в русском литературном движении. А о Шоломе Аше он написал скорбно.

«И по человечеству и по кровному братству больно нам за него», – итожил Владимир Жаботинский судьбу еврейского писателя (Избранное. Иерусалим, 1940).

Коренной вопрос, вокруг которого разгорелись страсти, заключался в том, что писатели разных национальностей, русские и евреи, по-разному трактуют суть национального характера.

Шолом Аш показывает в пьесе «Бог мести» моральный облик главной героини Сары: «Теперь на белом свете так: имеешь деньги, к тебе придет почтенное лицо, как Сейфер, переписчик Торы, например, Реб-Элла, возьмет у тебя хорошую милостыню... Тебя не спросят, откуда у тебя взялось. Укради, убей, – лишь бы было, вот что». Приходят Шлейма и Гендль, Сара упрекает своего суженого: «С кем ты разговариваешь?.. С отбросами». Случается несчастье, дочь, которую они берегли, соблазнилась и пошла с девками из публичного дома «гулять». Узнав об этом, родители сходят с ума от неожиданности, но Сара тут же одумалась, она отдаёт Шлейме бриллиантовые серёжки, даёт ему денег, Ривкеле вернулась в родной дом, и Сара собирается выдать дочь Ривкеле как «чистую еврейскую девушку».

Естественно, никто не собирался этим инцидентом как-то принизить творчество Шолома Аша (вскоре он уехал в США, умер в 1957 году автором десятков романов, повестей), но сам эпизод весьма интересен: Шолом Аш не мог понять, почему главная героиня пьесы, прекрасная, замечательная женщина, выражающая суть еврейского национального характера, вызывает отвращение у русских, ведь она проповедует эгоизм, ловкачество, чистый обман и очковитительство, то есть всё то, что православная этика отрицает как «греховную этику».

В «Хронике еврейской жизни» (1906) Владимир Жаботинский писал:

«Мы, сионисты, всегда издевались над попытками апологии и были правы, ибо апология как цель унижительна, смешна и бесполезна. Личность и народ должны действовать ради своих интересов, а не ради доброго мнения соседей... Потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное недоверие к чужакам...» А через сто лет профессор Михаэль Лайтман, руководитель Академии каббалы в Тель-Авиве, выражая сложнейшие мысли о мироустройстве, подтвердил то, что сказал Владимир Жаботинский: «Действительно, общий закон природы – это закон абсолютного альтруизма. Если правильно видеть и читать природу, то легко убедиться, что именно таким образом в ней все и устроено. Все, кроме мира человека. Там мы видим обратное: человек – абсолютный эгоист. В его природе – использовать все для собственной пользы. А все, что он дает ближнему, – дает не иначе как вынужденно. Такова наша форма. Наше главное свойство...» (Что правит миром? // Литературная газета. 2005. 21 декабря).

Каббала как тайное общество существует более 4000 лет, и только сейчас она раскрывает свои тайны: переделка мира, уничтожение христианства, мусульманского мира, и всё это возможно, нужно только человеку изменить себя. И больше 800 000 каббалистов принялись за дело, они-то «понимают, что каббала в принципе – наука о достижении мира, счастья, гармонии с природой».

«Что же касается России, то она благодатная для каббалы страна», – уверяет профессор Михаэль Лайтман.

2

Сложные и противоречивые отношения, питаемые русским правительством к евреям на протяжении первой половины XIX века, закончились тем, что 24 мая 1862 года Александр II издал указ, по которому евреи получили возможность пользоваться, как и коренные подданные, всеми юридическими правами. Стоит посмотреть автобиографии многих революционных деятелей, написанные в 20-х годах XX века, чтобы убедиться в этом, все они чаще всего родились в патриархальных еврейских семьях, обучались не только в еврейских школах, но, протестуя против запретов родителей, ходили и в русские, организованные правительством (См.: *Деятели СССР и революционного движения России*. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 15–658). Но права правами, к тому же они копили золото, золотом подчиняли всех окружающих, но возникла идея бороться за власть в стране, русские, дескать, плохие властители. И в этом была главная цель всех революционеров, разных кружков и обществ.

Любопытна публикация в газете «Знамя» (общественная, политическая, литературная и экономическая) за 22 января 1904 года под названием «К еврейскому вопросу. Воззвание раввина (так в газете! – В. П.) к своим единоверцам». Там написано: в Лондоне появилась недавно книга сэра Джона Рэдклифа под заглавием «Обзор политико-исторических событий за последнее десятилетие», её тут же перевели на французский язык, а затем – на русский. Публикуется полный перевод выступления раввина, которое почти полностью здесь приведем: «Наши отцы завещали избранным в Израиле обязательно собираться один раз каждое столетие вокруг гробницы великого господина нашего Калеба», который когда-то напроорочил, что еврейский народ будет господствовать в мире. Эта сила обещана Аврааму, но «похищена Крестом». «Золото – это величайшая сила на земле, это могущество, награда, орудие всякой власти, это – всё, чего человек боится и желает – вот единственная тайна, глубочайшая наука о том духе, которым управляется этот мир.

Восемнадцать веков принадлежали нашим врагам; век настоящий и последующий должны принадлежать нам, народу израильскому, и непременно будет нашим.

Коммерция и спекуляция – эти две изобильнейшие плодами отрасли не должны никогда выскользнуть из рук израильтян, для этого надо прежде всего добиваться полного сосредоточения в наших руках торговли спиртными напитками и вином, затем маслом и хлебом, так как этим путём мы явимся абсолютными хозяевами главных отраслей земледелия и вообще всей сельской экономии... Мы не должны оставаться пассивными ни к чему, что может способствовать к завоеванию почетного места в обществе: философия, медицина, право, политическая экономия – все, одним словом, отрасли знания, искусство, литература представляют собою широкое поле, малейшие успехи на котором, развивая наши способности, принесут огромные выгоды нашему делу...

Если золото есть первая сила на этой земле, то второю за нею следует бесспорно признать прессу. Но что значит вторая без первой? Так как мы не можем осуществить вышеуказанное без помощи печати, необходимо, чтобы управление всеми газетами и журналами всех стран находилось в руках наших. Обладание золотом, печатью и достаточными средствами для удовлетворения известных свойств души сделают нас хозяевами общественного мнения и подчинят нам народные массы... Раз сделавшись абсолютными хозяевами прессы, мы легко уже сумеем переделать понятия о чести, о добродетели, прямотушии и нанести первый удар тому, до сего дня ещё священному учреждению – семейному началу, которое необходимо довести до разложения.

Весьма важно для нас притвориться сторонниками и ревнителями вопросов социальных, стоящих на очереди в стране, особенно тех, которые имеют задачу улучшение участи рабочих; но в действительности наши усилия должны тяготеть к владению и управлению движением общественного мнения...

Необходимо по мере возможности поддерживать пролетариат и подчинить его заведующим денежною частью. Действуя таким образом, от нас будет зависеть, когда нам это понадобится, возбудить массы. Мы употребим их орудиями к ниспровержению и революциям, и каждая из этих катастроф гигантским шагом будет подвигать наше дело и быстро приближать к цели – царствовать на всей земле, как это обещано нам отцом нашим Авраамом. Аминь».

Такие призывы к еврейскому народу, жившему чуть ли не во всех странах мира, существенно подействовали на перемены в тактике захвата политической власти в стране, возникли российские партии, большевики, меньшевики, эсеры, кадеты...

Публикатор статьи сослался на «Новороссийский телеграф», в котором впервые напечатано это выступление и можно сверить точность его перевода с тем, что впервые появился в русской прессе от парижского корреспондента: «Новороссийский телеграф». 1891. 15 января.

В середине XIX века возникли многочисленные революционные общества, излучавшие ледяной поток ненависти к царю и царскому правительству, ко всему русскому, к русскому

человеку, к просторам России и могуществу, к её обычаям и взглядам. И почему-то эта ненависть так страстно входила в разные западные кружки, комитеты, организации. Ну ладно, Маркс, Энгельс, другие социалисты помельче провозглашали свою ненависть к царю и царскому самодержавию, выступали против деспотизма и личного диктаторства. Допустим, Герцен и Огарёв, Бакунин и Кропоткин, Лавров и Лопатин, выходцы из помещичьих семей пошли вслед за декабристами и подхватили социалистические идеи Запада. Но почему Аптекман и Натансон, Бах и Морейнис-Муратова, Морозов и Дейч, Добрускина и Дрей, могу назвать ещё десятки имён революционных деятелей в России, которые почти все учились в гимназиях, изучали языки, читали русскую и западную литературу, – ходили в «народ», входили в революционные организации «Земля и Воля», «Чёрный передел», уезжали на Запад, вновь объединялись в демократические и социалистические организации и партии, – почему они все люто ненавидели Россию и всё русское, якобы прогнившее и отсталое? Чаще всего они появлялись на свет в патриархальных еврейских семьях с достатком, кто-то из них, как Осип Васильевич Аптекман, в 26 лет принял православие: «Я иду в народ, – думал я, – не евреем уж, а христианином, я приобщился к народу».

Но ни у Аптекмана, ни у Добрускиной, ни у Дейча приобщения к народу так и не получилось, народ остался глух к их призывам к свободе, народу тоже хотелось свободы, но пахать и сеять на своей собственной земле, не кланяться богатеям, как в прежние, крепостнические времена, а быть самостоятельными хозяевами, как помещики, купцы, чиновники...

Вместе с русскими в этих кружках и партиях очень много было евреев, поляков, грузин, латышей, мечтавших о национальной свободе, причём евреи говорили о полном равноправии со всеми коренными народами России. И конечно, мало кто сомневался в справедливости этих целей и желаний в борьбе против власти и «черты осёдлости».

Но не только революционеры боролись против царя и царского правительства. Буквально чуть ли не все слои населения резко осуждали деспотизм и, главное, мечтали о захвате власти в богатейшей России. И прежде всего революционеры-евреи, как бы они ни назывались – большевиками, меньшевиками, эсерами, кадетами...

По свидетельству историков, в государстве Российском упало чувство патриотизма, увеличился паразитизм русской аристократии, больше всего думающей о собственной выгоде, а не о величии государства, которому служит. И неудивительно: за последние двести лет русские князья и графы столько раз женились на иностранках, а их дети – тоже женились на иностранках, часто проводили время в Париже, в Лондоне, в Риме, так что в итоге только фамилии оставались русские, а суть была чисто космополитическая... Так что коренное русское дворянское сословие теряло своё господствующее положение, утрачивало русский патриотизм и чаще всего служило чуждым интересам...

К. Маркс и Ф. Энгельс тщательно изучали положение России в современном мире, изучали историю, экономику, национальный характер. Маркс изучал русский язык, встречался с русскими революционерами, вступал в противоборство с Бакуниным. Известны слова Ф. Энгельса о том, что он не знает никого, кто бы так хорошо, как Маркс, знал Россию, её внутреннее и внешнее положение. К сожалению, мы слишком привыкли к столь одностороннему взгляду на марксизм.

Не буду приводить высказывания основоположников марксизма о ненависти к России и к русским, ко всему славянскому миру, относивших всех славян, кроме поляков, к реакционным нациям, подлежащим уничтожению, процитирую лишь известного писателя и учёного Н. Ульянова:

«Приведенный букет высказываний интересен как психологический документ, – писал он в статье «Замолчанный Маркс». – Россия должна провалиться в Тартар либо быть раздробленной на множество осколков путем самоопределения её национальностей. Против неё надо поднять европейскую войну либо, если это не выйдет, отгородить её от Европы независимым

польским государством. Эта политграмма стала важнейшим пунктом марксистского катехизиса, аттестатом на зрелость. Когда в 80—90-х годах начали возникать в различных странах марксистские партии по образцу германской социал-демократической партии, они получали помазание в Берлине не раньше, чем давали доказательства своей русофобии. Прошли через это и русские марксисты. Уже народовольцы считали нужным в целях снискания популярности и симпатии на Западе «знакомить Европу со всем пагубным значением русского абсолютизма для самой европейской цивилизации». Лицам, проживающим за границей, предписывалось выступать в этом духе на митингах, общественных собраниях, читать лекции о России и т. п. А потом в программах наших крупнейших партий, эсдеков и эсеров, появился пункт о необходимости свержения самодержавия в интересах международной революции... За несколько последних десятилетий корабль марксизма подвергся жестокому обстрелу и зияет пробоинами; самые заветные его скрижали ставятся одна за другой на полку с сочинениями утопистов. Позорная же шовинистическая страница, о которой идёт речь в этой статье, все ещё остается неведомой подавляющему числу последователей и противников Маркса...» (Москва. 1996. № 10).

Так написал русский эмигрант о Марксе и марксистах, хлынувших в Россию в конце XIX и в первые десятилетия XX веков переделывать Россию и русских в революционном духе. От пропаганды к террору, от бунтарства к терроризму, от пропаганды к насилию – вот идеи марксизма, по-своему воплощённые в жизнь эсерами и большевиками, имевшие страшные последствия. Вместо исконных нравственных устоев русскому народу, как и другим народам, навязывалась марксистская революционная мораль, которая лишь способствовала разрушению человеческого в человеке, утверждая, что для победы пролетарской революции все средства хороши. Почти полвека кряду бросали в русскую почву марксистские семена, и наконец они дали ядовитые всходы – в 1905, 1917 годах: это и полыхнувшая красным и белым террором Гражданская война, это и коллективизация, и новая война, и послевоенная разруха, каким-то чудом восстановленная, и идеологический деспотизм кремлёвских старцев...

3

Эти проблемы актуальны и сейчас, когда огромную страну, Россию, захватили явные потомки и продолжатели тех, кто, вкусив марксистские семена, готов всеми способами уничтожить Россию как национальное государство, отвергнув русских, русский национальный менталитет, с его откровенным и простодушным характером, добросердечием и отзывчивостью на чужую беду.

Горбачёв и Ельцин возглавили эту вековую борьбу за разрушение России, за использование громадных территорий с полезными ископаемыми под диктовку западных «демократов», получили у западных лидеров благословение на чудовищные реформы, унижающие нашу страну, ведь западные страны много веков сражаются за наши богатства, за то, чтобы изменить характер русских людей, сделать их похожими на себя, когда вся жизнь посвящается приобретению имущества, материальных благ, в сущности золота, денежных средств для того, чтобы поработить ближнего своего, сделать его рабом, зависимым человеком. И ведь законы новой России как раз и свидетельствуют о полной зависимости девяти десятых трудящихся от созданной бюрократии, от олигархов, от Кремля.

Сто с лишним лет тому назад об этой страшной опасности задумывались Ф.М. Достоевский, Ф.И. Тютчев, Н.С. Лесков, А.С. Суворин и др.

Достоевский не раз писал в своих сочинениях о том, что чаще всего русские аристократы, стоящие у власти в России, слишком зависят от Запада, принимают решения в пользу развития западных государств. Упомянул не раз и еврейскую тему как одну из актуальнейших в России и во всем мире. Наконец в марте в дневнике за 1877 год Достоевский решил объясниться

со своими читателями по еврейскому вопросу: «Поднять такой величины вопрос, как положение еврея и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, – я не в силах... Но некоторое суждение моё я всё же могу иметь...» Достоевский пишет эти страницы как ответ на письма к нему «образованных» евреев, упрекавших его за то, что он на них «нападал», ненавидит их «не за пороки», «а именно как племя». Эти «образованные» евреи сообщают Достоевскому, «что они, при своём образовании, давно уже не разделяют «предрассудков» своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют», «да и в Бога, дескать, не веруем». Достоевский на это ответил «высшим евреям»: «Слишком даже грешно забывать своего, сорокавекового Иегову и отступаться от него», «еврея без Бога и представить нельзя».

Достоевский недоумевает, почему его обвиняют в «ненависти к еврею как народу». И тут же отвечает: «Так как в сердце моём этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда...»

В письме одного «образованного еврея», «длинном и прекрасном во многих отношениях», на которое Достоевский отвечает, поставлено несколько злободневных вопросов: «Неужели вы не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что *все* без исключения граждане одного государства, если они только несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться *всеми* правами и выгодами его существования и что для отступников от закона, для вредных членов общества должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех?.. Почему же все евреи должны быть ограничены в правах и почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев (евреи ведь всё-таки русские подданные): немцев, англичан, греков, которых в России такая пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чем русский православный кулак, мироед, целовальник, кровопийца, которых так много расплодилось во *всей* России, лучше таковых из жидов, которые всё-таки действуют в ограниченном кругу? Чем такой-то лучше такого-то...»

В письме говорится также о «страшно нищей массе» евреев, которые ведут «отчаянную борьбу за жалкое существование», и они «нравственно чище не только других народностей, но и обоготворяемого вами русского народа». Достоевский не вспоминает замечательного Гольдштейна, геройски погибшего в Сербии за славянскую идею, и ненависть к евреям простирается даже на премьер-министра Великобритании Дизраэли... И автор письма видит причины этой ненависти: «К сожалению, вы не знаете ни еврейского *народа*, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец» (в сущности, Шолом Аш в своём споре с Чириковым повторяет то же самое). Достоевский, щедро цитируя это письмо, заметил, что «почтенный корреспондент» «не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока». И не в этом ли основная причина «разъединения» русского народа с евреями? Весь последующий ход рассуждений Достоевского лишь подтверждает этот вывод на письмо образованного интеллигента.

Достоевский, вспоминая сорокавековую историю еврейского народа, прежде всего обращает внимание на то, «что наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом своим или словом своим, на своё принижение, на своё страдание, на своё мученичество». Достоевский согласен, что благородный Гольдштейн умирает за славянскую идею, но одновременно Дизраэли, лорд Биконсфильд, помог решить славянский вопрос в пользу турок, а не славян. Евреи жалуются, что не они «царят в Европе», не они свободно передвигаются в России, но передвигаются и получают рабочую силу и земли и доводят до истощения эти земли и рабочую силу. А в Южные Штаты Америки, как только освободили негров от рабовладения, мгновенно хлынули массы евреев и прибрали к рукам все нужные им государственные должности. А совсем недавно в газете «Новое время» было сообщение, что евреи набросились на местное литовское население и

споили всех водкой, «и только ксендзы спасли бедных опившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости». В русском народе нет предвзятой ненависти к евреям, а сколько ненависти к русскому народу в письмах образованных евреев к Достоевскому! С этим тоже нужно было разбираться.

Далее Достоевский, принимая во внимание историю еврейского народа, который терял свою территорию, свою политическую независимость, законы и снова возрождался «в прежней идее», замечает: «Нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без *status in statu*, который он сохранял всегда и везде, во время самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений своих». И Достоевский опять же чётко излагает суть этих законов: «Признаки эти: отчуждённость и отчуждимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире одна народная личность – еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их и не существовало. «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что сих пор ты *един у Бога*, остальных ты истреби, или в рабов преврати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своём не общайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – все равно, – верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай...»

И возникает ещё один важный вопрос – о правах евреев и о правах инородцев вообще в сравнении с коренным, русским населением, которое не может якобы обходиться без посредника. А где возникал посредник, там начинались унижение и развращение коренного народа, распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние. «В окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: *безжалостность*; «двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью».

Конечно, в Европе живут сильные народы, христианские идеи ещё сильны, но вместе с тем в Европе заметно торжество еврейства, «заменившего многие прежние идеи своими». «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» – вот нравственный принцип большинства теперешних людей». Достоевский беспощаден в своих выводах: близится царство евреев, «перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда *личного* матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего и братского единения людей...»

Достоевский иронизирует над этим, дескать, «засмеются и скажут, что это там вовсе не от евреев». Но вспомним обращение раввина ко всему еврейскому народу, а эта проповедь лишь подтверждает выводы Достоевского: плотоядная жажда личного накопления денег всеми средствами одолевает христианские идеи нравственного спасения и братского единения людей. И не об отдельных хороших или плохих людях, их много и с той и с другой стороны, Достоевский говорит «о *жидовстве* и об *идее жидовской*, охватывающей весь мир, вместо «неудавшегося» христианства...». К этому как раз и призывает раввин в своём обращении к еврейскому народу.

На упреки в презрении к еврейскому народу Достоевский решительно возражает: «Всё, что требует гуманность и справедливость, всё, что требует человечность и христианский закон, – всё это должно быть сделано для евреев». И об этом Достоевский не раз говорил и писал. Он выступает «за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением».

Но вместе с тем Достоевский на секунду представляет себе такую картину: если русский мужик, недавний крепостной, неопытный в коммерческих делах, получит независимость и от сельской общины и на её место «нахлынет всем кагалом еврей», то сразу можно будет сказать, что мужик погиб: «Всё имущество его, вся сила назавтра же перейдет во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравниться пора крепостничества, но даже татарщина». И всё-таки Достоевский стоит «за полное и окончательное уравнивание прав – потому что это Христов закон, потому что это христианский принцип». Но даже образованные евреи не понимают этот христианский принцип. «Самомнение и высокомерие» – свойства еврейского характера, которые не позволяют пойти на компромисс с народом, на земле которого он проживает: столько веков мы угнетены и гонимы, а вы никак этого не поймёте, вы не любите нас. «Если высокомерие их, если всегдашняя «скорбная брезгливость» евреев к русскому племени есть только предубеждение, «исторический нарост», *а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайниках его закона и строя*, – то да рассеется все это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но всё-таки для братства, для полного братства *нужно братство с обеих сторон*... Вопрос только в том: много ли удастся сделать этим новым, хорошим людям из евреев, и насколько сами они способны к новому и прекрасному делу *настоящего* братского единения с чуждыми им по вере и по крови людьми?»

В истории русской литературы XX века этот вопрос неоднократно пробуждался, обойти его невозможно. Перед читателем пройдут острые эпизоды этой борьбы, порой будет возникать «братство с обеих сторон», «хорошие евреи» с пониманием будут относиться к русской истории и русскому языку, будут способствовать развитию русской культуры, создавая замечательные произведения, как художник Левитан, как скульптор Антокольский, как превосходные поэты Пастернак и Мандельштам. Но на сложном и противоречивом пути развития русской литературы не раз возникали мотивы иные – когда «плохие» евреи пытались растоптать, уничтожить лучшие произведения русской классики, унижить Россию и её высокие христианские идеалы. Почти все средства массовой информации, издательства, журналы, газеты, были в руках либеральных евреев, а русские писатели зависели от их нрава.

Вот почему в истории русской литературы XX века шли постоянные столкновения разных литературных групп с разными идеалами и литературными характерами. Одни угождали времени, которое диктовало свои требования, писали то, что требовали сиюминутные обстоятельства, а порой – политработники ЦК ВКП(б), а великие писатели прорывались сквозь эти преграды и говорили от всего сердца свою полновесную Правду, Истину.

«Прежде всего Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то ещё более задушевному, – писал Ф.И. Тютчев в статье «Россия и революция». – Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же прежде всего – враг христианства. Антихристианский дух есть душа Революции, её сущностное, отличительное свойство» (Собр. соч. М., 2003. Т. 3. С. 144).

В Библии, во Второзаконии, глава 28, ст. 12, прямо говорится: «И да си взаим языком многим, ты же не одолжиши; и обладаеши ты многими языки, тобою же не возобладают» («И будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать»). (В тексте некоторых изданий Библии нет последних двух предложений. – В. П.) Уже в Библии как бы предопреде-

лена судьба евреев – заниматься финансовыми делами и «господствовать над многими народами». А.С. Суворин, развивая это положение, писал: «Вот видите, как ясно тут предсказано господство евреев над всеми народами, благодаря тому, что они будут давать займы; со времен Моисея практику займов, конверсии и финансовых предприятий вообще они усовершенствовали до того, что без них ни одно денежное дело не обходится, и прямо можно сказать, что всемирный денежный рынок обретается в их руках. Они – все гг. Финансовы, умеют всюду пролезть, всюду «предложить», то «чек», то «промес», то «комиссионный процент», то «разницу». А христиане берут. Притворяясь, что это в самом деле нечто безобидное, нечто усовершенствованное, publicite, вполне культурное, вошедшее в нравы и освященное тем храмом, который называется «биржею», и теми жрецами, которые называются банкирами и биржевиками... «Посредничество» – это жизнь еврея. Без нее он пропал. А «посредничество» – это целая поэма, воспевающая разнообразнейшие подвиги служения золотому тельцу, подвиги, которые вызывают на бой самого Бога, на бой в потемках, из-за угла, на бой, полный клятв-вопругреступлений, обманов, лжи, подкупа, красноречия самого предательского и самого грубого. Евреи выработали систему посредничества превосходно и, так сказать, для всех сфер, начиная от посреднической продажи мыла и кончая заключением займов, конверсий, основанием огромных акционерных предприятий. Они воспользовались чутьем, развитым тысячелетиями, всеми пороками человека, всеми недостатками цивилизации, всеми прорехами гражданского строя, всем формализмом и проволочками администрации. И понятно, почему ни одно денежное дело не обходится без еврея, почему они – непременно члены во всем том, что пахнет финансами, почему они друзья-приятели министров, депутатов, сенаторов, почему, наконец, они овладевают миром постепенно, но прочно... В какой мере финансовое влечение владеет евреем, доказывается тем, что как бы они ни были воспитаны, а в конце концов природное влечение берет верх над воспитанием. Г. Цион, например, был физиологом, профессором Медико-хирургической академии, а стал финансовым агентом, финансистом, устройте-лем займов и конверсии. А этот Корнелий Герц, игравший такую роль в панамском деле? Был химиком, хирургом – и стал оперировать финансами. Еврею надо, вероятно, обладать такими талантами, как Спиноза, Гейне, Мейербер, наш Рубинштейн, чтоб не открывать гласную или негласную кассу ссуд, не заниматься агентурой, не играть на бирже, не проводить финансовых предприятий. Только огромный талант или необычайная доброта сердца – есть и такие примеры – спасают еврея от всего того, что называется гешефтом. И христианин, волею-неволею, проходит еврейскую школу, и, надо сказать, довольно успешно, до того успешно, что начинает считать её культурною, необходимою, даже нравственною...» А.С. Суворин, вспоминая строительство Панамского канала, где евреи предавали и обманывали, писал, «что истинно-культурное христианское чувство возмущается против этой продажности и подкупа и не хочет прикрывать мнимым «величием результатов» пороки своей администрации и своих законодатель, депутатов и сенаторов...» (Новое время. 1892. 8 (20) декабря. Цит. по: Суворин А.С. В ожидании XX века. Маленькие письма. 1889–1903. С. 229–231).

Часть первая. На рубеже двух веков

На рубеже двух веков немало слов говорилось в ожидании нового времени, что-то предвещало перемены, уж слишком тускла и неприхотлива была общественно-политическая мысль, невыразительны литература и искусство, но были какие-то симптомы, предвещавшие эти перемены. В статье «Конец века» Лев Толстой в 1905 году как бы итожил то, что происходило на его глазах: «Век и конец века на евангельском языке не означает конца и начала столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей и начала другого мировоззрения, другой веры, другого способа общения... Временные же исторические признаки или тот толчок, который должен был начать переворот, – это только что окончившаяся русско-японская война и одновременно вспыхнувшее и никогда прежде не проявлявшееся революционное движение среди русского народа» (ПСС: В 90 т. М. – Л., 1936. Т. 36. С. 231–232). Не раз ещё Лев Толстой скажет о «великом перевороте» в конце и начале нового века.

О начале нового времени, о новых мыслях, о смене поколений и его последствиях не раз выскажутся в разное время Владимир Короленко, Александр Блок, Максим Горький и другие чуткие писатели. И произойдёт немало перемен в общественно-литературном сознании от начала века к последующему десятилетию. М. Горький в 1907 году предложил Леониду Андрееву возглавить издательство «Знание», в котором, как известно, печатались только писатели-реалисты, и советовал ему продолжать развивать эти традиции, но Леонид Андреев тут же добавил имена Александра Блока, Андрея Белого, Фёдора Сологуба... Горький решительно возразил против этих кандидатур, а через десять-одиннадцать лет с удовольствием с ними работал в издательстве над выпуском классиков мировой литературы. Проходит время, и не только время меняется в своей структуре, но и человек меняет своё отношение к текущей структуре.

Исследователи истории русской литературы XX века считают, что на рубеже двух веков в русской литературе наметилось стремление к изображению новых героев новой действительности: нищезанцев и марксистов, героев своего времени давали и Боборыкин, Потапенко, Станюкович, Мамин-Сибиряк, Вересаев, Серафимович, Вас. Немирович-Данченко, Гарин-Михайловский, Арцыбашев, Амфитеатров...

В русской литературе, особенно в критике, заговорили о натурализме, о многих писателях как последователях французского писателя Эмиля Золя, роман которого «Нана» привлёк всеобщее внимание. Но в сущности, ни один из активно работающих писателей не согласился с тем, что они – «натуралисты». Да и Эмиль Золя в своих «Парижских письмах» заявлял, что форма его романов отличается от формы романов Бальзака и Диккенса: «Я не хочу, как Бальзак, быть политиком, философом, моралистом... Рисуемая мною картина – простой анализ куска действительности, такой, какова она есть» (Собр. соч.: В 26 т. М., 1961–1967. Т. 25. С. 440). Русские писатели тоже берут «кусочек» действительности и пытаются изобразить яркие картины с выпуклыми действующими лицами, но им не хватает природного языка, пристальности, чуткости, опыта и масштаба мышления, чтобы создать такие картины, как у Тургенева, Льва Толстого и Чехова.

Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929) в конце XIX века был одним из популярных писателей, много написал, многое из текущей действительности привлёк, создав любопытные фигуры действующих лиц. Его романы и повести «Здравые понятия» (1890), «Не герой» (1891), «Секретарь его превосходительства», «Жестокое счастье» и др. – всё это поиски положительного героя своего времени; впрочем, чаще всего положительные герои в его произведениях оказываются менее удачными.

Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) был, может быть, даже популярнее И. Потапенко, написал сто томов, в том числе историко-литературную работу «Европейский роман в

XIX столетии» (1900). Его роман «Василий Тёркин» (1892) был внимательно встречен литературной критикой, а образ Василия Тёркина провозглашен «героем нового типа» (см.: Русское обозрение. 1892. № 7; Северный вестник. 1892. № 7; Русская мысль. 1892. № 8). Его беллетристику поддерживали Лев Толстой, Антон Чехов и Леонид Андреев, немало добрых слов сказали и критики, добавляя к тем, которые успели уже одобрить «Василия Тёркина», но левая критика чаще всего критикует Боборыкина за то, что главным героем его произведений является удачливый купец, бизнесмен, торжествующий капиталист.

Но ни Боборыкин, ни Потапенко при всей их популярности не создали неповторимости своего языка, новаторства в композиции, они следовали проторенными в литературе путями, не создав ничего новаторского, поражающего своей новизной.

А.И. Эртель (1855–1908), столь же внимательный и чуткий к современности, как Боборыкин и Потапенко, в повести «Карьера Струкова» (1895–1896), захваченный острой полемикой вокруг марксизма, изображает Алексея Струкова, русского дворянина с университетским дипломом, в деревне, в которой тот пытается сделать что-то полезное для жителей деревни, но терпит неудачу; он как книжник, не имея практики, ничего полезного сделать не мог и, беспомощный, бросается в Волгу, потерпев поражение.

Обратил внимание читателей и критиков Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912) своими романами и повестями «Золото», «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье», «Три конца», познакомил читателей с Уралом, с уральскими рабочими и промышленниками, с острейшими конфликтами вокруг золота, золотодобычи. В романе «Хлеб» (1895) Мамин-Сибиряк показывает трагедию главного героя, запутавшегося в противоречиях своего времени и покончившего жизнь самоубийством.

Евгений Чириков в повести «Инвалиды» (1897), Викентий Вересаев в повести «Без дороги» (1895), Зинаида Гиппиус в сборнике рассказов «Новые люди» (1896) – эти и другие писатели ищут своего героя, который смог бы воплотить определённые черты своего времени. «В романах и повестях стоит погребальный звон, хоронится тип эпохи освобождения и в качестве наследников выводятся все скептики свободы: или «наглые, торжествующие герои» Боборыкина, или «кислые, изнеможенные отступники» Чехова, или «охлажденные, изверившиеся интеллигенты других, менее видных беллетристов», – писал известный публицист Михаил Меньшиков (Смысл свободы // Книжки «Недели». 1896. № 2. С. 316).

Много статей, заметок о конце века и начале нового, XX века написал известный писатель и публицист Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912). Кроме крупных статей, он в своей популярной газете «Новое время» печатал «Маленькие письма», в которых как бы воплощал дух сиюминутного и актуального времени. К газете было разное отношение – Иван Аксаков, Достоевский, Писемский, Салтыков-Щедрин, Чехов любили читать эту газету, печатали свои сочинения, а вся либеральная пресса её ненавидела из-за того, что газета была русской, патристической, националистической. Превозносила последние произведения Писемского, ставила его в один ряд с Гоголем и Достоевским. И когда в «С.-Петербургских ведомостях» появилась статья С.А. Венгерова о сочинениях Писемского, на неё тут же откликнулся Незнакомец (А.С. Суворин) статьёй «Критик Писемского из новых», обращая внимание на то, что С.А. Венгеров многое не понял, а многое извратил в произведениях Писемского, и неудивительно почему: «Он вовсе не является врагом Писемского, пасквилянтом его, как это можно было заключить из статьи «С.-Петербургских ведомостей», которая подобрала перлы и сгруппировала их. Но у него нет ничего *своего*, самостоятельного, оригинального, ни ума сколько-нибудь заметного, ни чувства сколько-нибудь глубокого, ни проникновения в русскую действительность, в русские радость и горе, в русский талант». А.С. Суворин здесь ещё раз подчеркнул одну из своих глубоких мыслей (верную или неверную – это другой вопрос), что инородец, как и крещёный еврей С.А. Венгеров, «никогда не сделается сколько-нибудь заметным критиком русской литературы, ибо ему не дано почувствовать её всем сердцем, пережить «в самом себе» (Новое время. 1884.

5 января). С этих же позиций А.С. Суворин вступил в полемику с А. Рубинштейном, который несколько лет тому назад написал, что русской музыки нет в театрах, музыкой занимаются только дилетанты, но главное – он в своём обзоре заявил, что «сочинение оперы английской, французской или русской может служить только доказательством незрелости мысли». А.С. Суворин резко возразил А. Рубинштейну: «Утверждение Рубинштейна, что «нет никакой национальной оперы», может считаться абсурдом, не более и не менее. Если есть национальные танцы, национальные инструменты, национальные песни, национальная поэзия, то может быть и национальная опера... Он с искренностью высказывает свое убеждение, он нисколько не фальшивит, потому что не чувствует в себе, в своем духе, ничего национально-русского... в г. Рубинштейне, как композиторе, можно найти всего понемножку, всего того, что выработала музыкальная Европа, но национально-русского в нём не найдешь, как говорится, и днем с огнем...» (*В ожидании XX века. Маленькие письма. 1889–1903 гг. М., 2005. С. 50–51*).

11 мая 1890 года Алексей Суворин в газете «Новое время» опубликовал статью «Критические очерки. Наша поэзия и беллетристика» (об этом исследователи уже писали в своих работах), в которой подверг острой критике прозу и поэзию своего времени. Все герои у нынешних писателей – «все погудки на старый лад», то влюбляются, то разводятся, то умирают. А почему наша жизнь меняется, меняются характеры, меняются конфликты? «А наша жизнь сделалась гораздо сложнее, чем прежде, – писал Суворин. – Прежде были кроме крестьян, только помещики, чиновники, купцы и духовенство... Но вот уж лет тридцать как жизнь стала усложняться. Явились новые занятия, новые люди, новая обстановка. Число образованных людей сильно возросло, профессии стали свободнее, сословия перемешались, униженные возросли, унижавшие понизились, свободы жить вообще стало больше, увеличилась нравственная независимость существования... Все, что соединяется с любовью, гордость, тщеславие, кокетство, ревность – все это приняло иные оттенки и несколько иначе выражается... Беллетристы просто не знают много такого, что знать им следует... наука физиологии, патологии, психологии остается им неизвестна... мир болезненно странных явлений... Затем – изучение и кропотливое собирание фактов... Беллетрист должен знать больше или должен избрать себе какой-нибудь один угол, как специальность, и в нём стараться сделаться если не мастером, то хорошим работником». Если этого сделано не будет, то литература «в огромном большинстве своем – просто праздное дело, развлечение для праздных людей, и если бы она вдруг почему-либо прекратилась, никто бы ничего не потерял». Кроме того, А.С. Суворин сказал и о народном языке, который стали почему-то забывать: «После Григоровича, Тургенева, Толстого, Достоевского («Записки из мертвого дома») народный язык является в беллетристике в искаженном виде, каким-то пьяным и глупым языком, и становится непонятным, каким образом на этом языке существуют прекрасные поэтические песни, мудрые пословицы, остроумные загадки» (*Новое время. 1890. 11 мая*). Обычно в этом случае упоминают и доклад Д. Мережковского «Об упадке развития художественной литературы», который он сделал через два с половиной года. И здесь я бы не разъединял эти два сообщения, а, напротив, объединил как два манифеста о дальнейшем развитии художественной литературы с различных точек зрения, представляя натурализм и модернизм как условные понятия в истории русской литературы XX века, ведь символизм просуществовал не больше десяти лет, футуризм и акмеизм и того меньше, а реализм, борьба за правду и справедливость, живёт и процветает до сих пор.

Хочу в связи с этим напомнить лишь слова В.М. Гаршина, высказавшего в одном из писем затаённые мысли: «Бог с ним, с этим реализмом, натурализмом, протоколизмом и прочим. Это теперь в расцвете или, вернее, в зрелости, и плод внутри уже начинает гнить. Я ни в коем случае не хочу дожевывать жвачку последних пятидесяти – сорока лет...» (*Полн. собр. соч. М., Л., 1934. Т. 3. С. 357*).

Начавшие свою литературную деятельность в конце 90-х годов XIX века такие писатели, как И.А. Бунин (1870–1953), А.И. Куприн (1870–1939), М. Горький (А.М. Пешков, 1868–

1936), В.В. Вересаев (В.В. Смидович, 1867–1945), С.Н. Сергеев-Ценский (С.Н. Сергеев, 1875–1958), А.С. Серафимович (Попов, 1863–1949), Д.С. Мережковский (1865–1941), З.Н. Гиппиус (1869–1945), Ф.К. Сологуб (Ф.К. Тетерников, 1863–1927), К.Д. Бальмонт (1867–1942), продолжили свой блистательный путь в XX веке, создав классические произведения русской прозы и поэзии и оставив в произведениях неизгладимые душевные переживания – и свои собственные, и своих персонажей. И современного читателя совершенно не интересует, как им удалось это сделать – то ли благодаря реализму, то ли благодаря натурализму, то ли символизму, акмеизму или футуризму, хотя в нашей книге мы будем уделять внимание художественным различиям этих литературных направлений.

Три великие фигуры соединяют XIX век с веком XX, очень разные и неповторимые: Лев Толстой, Антон Чехов и Владимир Короленко.

Литературные портреты

Лев Николаевич Толстой

(28 августа (9 сентября) 1828 – 7 (20) ноября 1910)

Богат, разнообразен и насыщен духовный, художественный и человеческий мир Льва Толстого, только что закончившего роман «Воскресение», опубликованный в 1899 году, над которым он работал десять лет. В своей «Исповеди» он признавался, что «жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл... Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представлялись мне единым настоящим делом» (Полн. собр. соч. (юбилейное издание). Т. 25. С. 373). Несмотря на перелом в мировоззрении, Толстой полон творческих замыслов, да и недоделанного весьма много, к которому он постоянно возвращается, то заканчивает, то снова откладывает до поры до времени, когда окончательно сформируется творческий замысел – ведь жизнь неостановимо движется, и каждый день вносит в его жизнь какие-то перемены. К нему зачастили постоянные гости, да и просто очень много любопытных заглядывало к нему то в Ясную Поляну, то в Москву.

В переписке с журналистом Михаилом Меньшевиковым Толстой остро ставил некоторые вопросы, над которыми и раньше раздумывал, и ставил их иначе. В октябре 1895 года Толстой писал Меньшевикову: «Разум есть орудие, данное человеку для исполнения своего назначения или закона жизни, и так как закон жизни один для всех людей, то и разум один для всех, хотя и проявляется в различной степени в различных людях... Жизнь есть непрерывное движение или скорее напряжение; направление же этому движению или переход этого напряжения в движение даёт разум, открывая пути движения... В наше время цель жизни, указанная разумом, состоит в единении людей и существ; средства же для достижения этой цели, указанные разумом, состоят в уничтожении суеверий, заблуждений и соблазнов, препятствующих проявлению в людях основного свойства их жизни – любви» (Там же. Т. 68. С. 197). Продолжая развивать эти мысли о разнице разума и ума, как несколько раньше между разумом и сознанием, Толстой писал тому же Меньшевикову: «Во-1-х, разум и ум – *Yernunft* и *Yerstand* – суть два совершенно различных свойства, и надо различать между ними. Бисмарки и им подобные имеют много ума, но не имеют разума... Разум не только не одно и то же, что ум, но противоположен ему: разум освобождает человека от тех соблазнов (обманов), которые накладывают на человека. В этом главная деятельность разума: уничтожая соблазны, разум освобождает сущность души человеческой – любовь и даёт ей возможность проявления» (Там же. С. 161).

Роман «Воскресение» полностью посвящён любовным отношениям князя Нехлюдова и Катюши Масловой, радостным в начале и сложным и противоречивым в конце романа. Как только А.Ф. Кони в июне 1887 года рассказал эту историю из своей судебной практики, Лев Толстой сразу увлёкся сюжетом и всё время спрашивал Кони, написал ли он что-нибудь об этом эпизоде в издательство «Посредник». Но Кони, не сделав ничего сам, передал сюжет Толстому. И Толстой стал внимательно собирать материалы, обдумывал нравственную концепцию романа, отбор героев, в какие «верхи» и в какие «низы» позовёт его творческая душа и что он найдёт в этих сферах. Сначала Толстой задумал написать повесть о нравственном возрождении князя Нехлюдова, о новых отношениях с Катюшей Масловой. Раскаявшийся в своём греховном поступке, Нехлюдов вновь сближается с Катюшей, прощает её и своё прошлое, они уезжают за границу и благополучно завершают свою жизнь. Но этот замысел Лев Толстой отбросил и десять лет работал над романом, закончив его в 1899 году.

Но начинать надо с крестьян, надо начинать с Катюши Масловой, крестьяне и Катюша Маслова – это положительное, а дворянство и вообще верхние слои общества – это отрицательное. Морально-этические проблемы, которые волновали его в самом начале работы над романом, отодвинулись на второй план, он резче стал всматриваться в общественно-политическое положение в обществе. Вроде бы он никогда не занимался политикой, но в обществе происходило то, что обращало на себя зоркий взгляд художника, появилось столько нового, особенно в революционно-демократическом движении, обострилось классовое расслоение и идеологические распри.

Л.Н. Толстой в это время испытывал трагический надлом в своём мировоззрении и творчестве. В 1891–1892 годах во время голода часто бывая в деревнях, постоянно разговаривая с крестьянами, он всеми мерами помогал голодающим, голод был свирепый. Толстой в дневнике и письмах часто возвращался к роману, перечитывал его и признавался, что он сделан плохо, совершенно не отвечает современным запросам, скользит по поверхности общества, не проникая в глубь противоречий.

5 января 1897 года Л.Н. Толстой, перечитывая рукопись романа, записал: «Начал перечитывать «Воскресение» и, дойдя до его решения жениться, с отвращением бросил. Все неверно, выдуманно, слабо. Трудно поправлять испорченное» (Там же. С. 352).

Резко обострились противоречия с правительством общества духоборов, они требовали мира во всём мире, запретили пользоваться оружием, символически сложили его и зажгли костёр, тем самым отказавшись от войны и насилия. Во имя дружбы с духоборами, которые решили покинуть Россию и эмигрировать в Канаду, нужны были деньги. И Л.Н. Толстой понял, что роман надо заканчивать и получить деньги для духоборов. Толстой решительно меняет свой творческий замысел, появляются острые сатирические сцены петербургских верхов, возникают острые сцены суда, острожные эпизоды, богослужение в тюремной церкви. Катюша выходит замуж за революционера Аносова, Нехлюдов сдаёт свои морально-этические позиции и остаётся в верхних слоях общества. «Результаты последнего нравственного подъема, пережитого Нехлюдовым вследствие встречи с Катюшей Масловой, уже начинали проходить, – записал в дневнике Л.Н. Толстой. – Опять понемногу, понемногу жизнь затягивала его своей паутиной и своим сором» (Там же. С. 160). Потом Л.Н. Толстой ещё не раз принимался за текст, исправляя и дополняя его новыми эпизодами, добываясь художественной правды даже в деталях: узнав от тюремного надзирателя, что уголовные и политические не могли познакомиться в тюрьме, Толстой исправляет этот эпизод: Катюша Маслова знакомится с политическими, в том числе и Аносовым, по дороге в Сибирь.

Некоторые критики и исследователи называют «Воскресение» «публицистическим романом», но вряд ли какие-либо уточнения здесь необходимы. Сам Толстой, работая и перерабатывая роман, а известны шесть редакций рукописи, отказался от только что найденной формы и вновь перешёл к форме семейно-бытового романа, используя все художественно-изобразительные средства для воспроизведения человека и его отношений с обществом: портрет, психологический анализ душевных переживаний, несобственно-прямая речь и пр. и пр.

Некоторые критики и исследователи критикуют автора за то, что в конце романа князь Нехлюдов, читая Евангелие, приходит к теории непротивления злу насилием, которую автор вновь повторяет в своём романе. Критики много писали об этом, грозно укоряя автора в идеализме и прочих грехах.

Чехов, прочитав роман, тут же заявил своим современникам: «Это – замечательное художественное произведение. Самое неинтересное – это всё, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное – князя, генералы, тётушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита, я читал с замиранием духа – так хорошо! А m-me Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосья. Этот мужик называет свою бабу «ухватистой». Вот именно у Толстого перо ухватистое. Конца у повести нет, а то, что

есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить всё на текст из Евангелия – это уж очень по-богословски» (Собр. соч. Т. 18. С. 313).

Роман «Воскресение» был опубликован в журнале «Нива» с № 11 по № 52, с 13 марта по 25 декабря 1899 года, на рубеже двух веков, и сразу вновь вызвал неутраченный интерес к творчеству Л.Н. Толстого.

Это было как бы прощание с XIX веком, а столько ещё было незаконченных рукописей, незаконченных замыслов, столько ещё было набросков и записей! Столько было встреч и интересных разговоров на литературные темы.

Надолго остались в памяти две встречи с Максимом Горьким. 13 января 1900 года Горький побывал у Толстого в Хамовниках. Алексей Максимович не раз вспоминал первую встречу с Толстым. Много лет собирался пойти к нему, хотя бы увидеть и задать вопросы, которые волновали его, не давали покоя, мучали. Писал письма и рвал их, уверенность сменялась сомнениями – уж слишком велика была слава русского гения, ответит ли, заметит ли в потоке писем, идущих к нему. И только тогда, когда его собственная известность как писателя стала несомненным фактом, Горький решился на встречу, особенно после того, как Чехов в апреле 1899 года написал, что Лев Толстой долго расспрашивал Чехова о Горьком, сказал, что Горький – «замечательный писатель», «очень хвалил», «нравятся «Ярмарка в Голутве» и «В степи» и не нравится «Мальва». «Можно выдумать всё, что угодно, но нельзя выдумывать психологию, а у Горького попадают именно психологические выдумки, он описывает то, что не чувствовал» – эти слова Льва Толстого в передаче Чехова Алексей Максимович помнил наизусть, так они своевременно прозвучали из уст великого мастера, перед гением которого он преклонялся с юных лет. А слова Чехова «Вы возбуждаете в нём любопытство. Он, видимо, растроган» из того же письма Чехова окончательно подтолкнули Горького к тому, чтобы найти возможность встретиться с Толстым. И встреча состоялась. 16 января Лев Толстой отметил в дневнике: «Записать надо: был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа».

Через несколько дней после встречи Горький писал из Нижнего Новгорода в Москву Л.Н. Толстому: «За всё, что Вы сказали мне – спасибо Вам, сердечное спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что видел Вас, и очень горжусь этим. Вообще я знал, что Вы относитесь к людям просто и душевно, но не ожидал, признаться, что именно так хорошо Вы отнесётесь ко мне.

Пожалуйста, дайте мне Вашу карточку...»

9 февраля 1900 года Лев Толстой ответил на это письмо: «Простите меня, дорогой Алексей Максимыч (если я ошибся в имени, ещё раз простите), что долго не отвечал Вам и не послал карточку. Я очень, очень был рад узнать Вас и рад, что полюбил Вас. Аксаков говорил, что бывают люди лучше (он говорил – умнее) своей книги и бывают хуже. Мне Ваше писание понравилось, а Вас я нашёл лучше Вашего писания. Вот какой делаю Вам комплимент, достоинство которого, главное, в том, что он искренен...»

В первую встречу Лев Толстой говорил о рассказах «Варенька Олесова», «Двадцать шесть и одна», о «Фоме Гордееве». Просидел Горький у Толстого более трёх часов, но успел высказать только самую малость того, что собирался. Ведь перед встречей он посмотрел «Власть тьмы» в Малом театре и был поражён мастерством актёров и хотел об этом рассказать, но успел только произнести несколько слов о спектакле «Сирано де Бержерак», процитировал стихи Сирано, прозвучавшие как призыв:

Дорогу свободным гасконцам!
Мы южного неба сыны,
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены!

Лев Толстой долго молчал, а потом заговорил (по воспоминаниям Горького, который эти слова запомнил и записал):

«— Цель искусства в том, чтобы высказать правду о душе человека, уловить то тайное, что происходит в недрах человеческого сердца. Если злодей – только злодей, а Добротворов – только Добротворов, то зачем такое искусство... Все люди пегие, дурные и хорошие вместе. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать – вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость... Вот этого и надо больше всего опасаться в жизни... В творчестве тоже... Для меня главное – душевная жизнь, выражающаяся в сценах... Крестьяне говорят: хорошо пострадать перед смертью. Как и отчего хорошо – я не сумею объяснить теперь, но всей душой согласен с ними. Только малодушие просит помягче экипаж... Человеческое слово полезно только тогда, когда оно заключает в себе истину. Всякая ложь, даже самая блестящая, высказываемая хоть бы даже с самыми благородными, высокими целями, непременно в конце концов должна произвести не пользу, а величайший вред... Но бывают случаи, когда не знаешь, как поступить.

В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я осенью пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тѣк грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе; лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлопает телом по мокрому, а встать не может... А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слѣзы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало: «Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...» Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять – шлѣп затылком в грязь... Да, да, – ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много, – ах, боже мой! Вы не пишите об этом, не нужно!

– Почему?..

– Почему? – потом раздумчиво и весело сказал: – Не знаю. Это я – так... стыдно писать о гадостях. Ну – а почему не писать? Нет, – нужно писать обо всѣм...

А писать всѣ надо, обо всѣм, иначе светленький мальчик обидится, упрекнѣт, – неправда, не вся правда, скажет. Он – строгий к правде!»

«Стыдно», «Рабство нашего времени», «Не убий», «Царю и его помощникам», «Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные по этому случаю письма» и многое другое – всѣ это в России запрещалось царской цензурой, но становилось широко известным благодаря газетам и журналам Лондона, Парижа, Брюсселя, Женевы и других европейских городов, в России к тому же печатались листовки с текстами этих статей.

Лев Толстой не раз говорил и затем высказывался в своих статьях, что он отрицает и осуждает весь существующий порядок и власть и прямо заявляет об этом. Не раз писал, что преступления и жестокости, совершаемые в России, ужасны, что революция, если она придѣт как протест против этих безобразий, будет иметь для человечества более значительные и благотворные результаты, чем Великая французская революция. И тут же пояснял, что на всякие насилия и убийства, с какой бы стороны они ни происходили, смотрит с омерзением. Заявлял, что во всей этой революции он состоит в звании, добровольно и самовольно принятом на себя, адвоката стомиллионного земледельческого народа, всему, что содействует или может содействовать его благу, он сорадуется, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от неѣ, он не сочувствует. Он резко осуждает царское правительство за то, что преследуют студентов, арестовывают и изгоняют из университетов и из институтов. Лев Толстой обращается к царю, членам Государственного совета, министрам, их близким, матерям, жѣнам, братьям и сѣстрам, ко всем, кто может повлиять на них своим убеждением, уговаривает их, что всякие страдания, которые мы несѣм, отзываются и на них, и ещѣ гораздо тяжелее, если эти власть имущие чувствовали, что могли устранить эти страдания и не сделали этого, уговаривает их сделать так, чтобы не было убийств, уличных побоищ, казней, страха, ложных обвинений, угроз и озлобления, тогда и не будет ненависти, желания мщенья, не будет жертв... Причины сегодняшнего неустройства в общественной жизни Лев Толстой увидел в том, что

случайное убийство Александра II, освободившего народ, привело к тому, что правительство решило не только не идти вперёд по раскрепощению народа, отрешаясь от деспотизма самодержавия, но, напротив, вообразило, что спасение именно в этих грубых отживших формах деспотизма, более того, идёт назад, всё более и более разделяясь с народом и его требованиями. «Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между собою, было хорошо одним, а другим – худо, – взывал к совести царя и его приближённых Лев Толстой. – В особенности же не может этого быть, когда хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится всё общество.

Помогите же улучшить положение этого большинства и в самом главном: в его свободе и просвещении. Только тогда и ваше положение будет спокойно и истинно хорошо...»

Не раз в обществе возникал вопрос о евреях, об их правах и обязанностях, об их характере, о гонимости и чрезвычайной живучести в различных сферах общественной жизни.

Однажды Лев Николаевич Толстой получает письмо: «Граф! В заседании психологического общества в Москве вы в своей речи выразились, что надо любить всех людей. Позвольте вас перебить! Неужели и жида надо любить?.. Я не могу поверить, чтобы вы, граф, наш известный писатель, могли согласиться с таким выводом. А между тем из вашей речи неизбежно следует это положение. Очень рад был бы услышать от вас опровержение. Если пожелаете ответить, то отвечайте через «Новое время» – я подписчик этой газеты».

Толстой принял это письмо в шутку, предложил его напечатать в «Новом времени» и отправил в конверте на почту. А вечером Толстой пошёл на почту и забрал это письмо. «Он человек тёмный, совсем ещё не родился к жизни», – сказал Толстой.

Автор книги «Л.Н. Толстой... О евреях», от имени которого ведутся эти записки, вспоминает другой случай: приезжает в Ясную Поляну Алексей Суворин, издатель «Нового времени», и просит Толстого передать ему право издания его сочинений, а рассказчик пересказывает ему письмо, о котором велась речь выше.

«– Да, конечно, это несколько неудобная постановка вопроса. Но вы должны знать, что направление моей газеты...»

– Как же, знаю направление вашей газеты. Не знаю только, чем вы объясняете свой поход против евреев...

– Видите ли, в еврейском вопросе я вовсе не придерживаюсь того взгляда, какой обычно приписывают юдофобам. Я совершенно игнорирую религиозную сторону. По-моему, не вопросы веры создали еврейский вопрос и не вопросы веры разрешат его. Религия тут решительно ни при чём.

Напротив, если бы все затруднения еврейского вопроса заключались в религии, – он давно был бы решён, как он решён уже по отношению к караимам.

И законодательство, и общественное мнение наше несколько не настроено враждебно к еврейской религии. В законе о караимах сказано, что им даются все права, как истинным евреям.

Вы видите, следовательно, что не принадлежность к еврейской вере мешает равноправию, а, напротив, истинные евреи удостоились одинаковых с коренным населением прав. – Итак, религию надо исключить в этом вопросе. Не придерживаюсь я также экономического взгляда. Меня не пугает призрак пресловутого эксплуататора-еврея. Это тоже слишком раздуто, и вовсе не так страшно.

Сама по себе взятая, эта сторона еврейского вопроса настолько ничтожна, что вряд ли о ней кто-нибудь и говорил бы. Не евреи, так другие пользовались бы невежеством народа.

Родной русский кулак в деревне ещё более страшен и паукообразен, чем пришлый еврей. С евреем в деревнях крестьяне, особенно на юге, сживаются, и торговые интересы редко вызывают крупные недоразумения; если это бывает, то в этих случаях всегда замешаны науськивающие конкуренты-кулаки из русских. Я смотрю на еврейский вопрос совершенно иначе. Не

религиозная, не экономическая, а национальная сторона вопроса должна быть выдвинута на первый план. Та самая сторона, которую выдвинул и Пётр Великий.

Перед нами две нации. Одна старая, умная, выдавшая на своём веку и счастье, и горе; нация, выработавшая прочные устои семейные, религиозные; нация, крепкая своей внутренней солидарностью и, если хотите, нравственной чистотой, да, я признаю это.

А с другой стороны наш народ, чуть-чуть зарождающийся, еле выходящий из пелён истории; народ, не только не переживший ничего, но ещё мало испробовавший; народ свежий, мягкий, без устоев и значительно ниже стоящий по многим нравственным качествам своим. Ни семейных, ни религиозных основ у него прочных нет ещё; вместо солидарности царит непонятная чисто детская вражда, взаимная с ненужным ухарством и бахвальством; цели народные не выяснены, мирозерцание не установлено...

И вот не угодно ли, – при встрече этих двух наций, – на чьей стороне может быть победа? Не надо быть особенным пророком и прозорливцем событий, чтобы предугадать печальный исход для слабой стороны.

Наш народ не выдержит борьбы и поддастся.

Он утонет в старом еврейском море и растворит в нём свою молодую, ещё мало жившую душу.

Вот что опасно и вот чего боится всякое честное, русское сердце, содрогающееся при мысли о возможной гибели. – Я знаю, вы мне скажете, что в этом ещё ничего страшного нет, что если еврейский народ чище и нравственнее русского, то кому от этого плохо будет, когда русский народ поддастся влиянию его и сам сделается чище и нравственнее. Я знаю это, но должен вам сказать, что народная жизнь ещё более щепетильна, чем жизнь отдельной личности, и не всякому приятно подражать. Русский народ желает шествовать по своему пути и на этом пути хотел бы избежать чьих бы то ни было влияний, а тем более еврейских.

Слушая пересказ этой речи Суворина, Лев Толстой сказал:

– Мысли этих книжных умников мало проникают в глубь народных интересов, как эти мелкие извилины ряби в водную толщу пруда.

Там, в высоких казармах душных городов, идёт у них борьба с измученным еврейством, и, жестокие, они думают втравить в эту борьбу и умный добрый народ наш, которому всегда были чужды злые чувства нетерпимости к другим. Эти желчные публицисты и слушающие их сухие, тощие, с сухими душами чиновники думают навеять страх на народ и пугают людей евреями, как грозной силой.

Они думают, что конкурирующий с ними еврей-адвокат или врач так же страшен для народа, как и для них, и что-то может сделать этой могучей твердыне; сильной и крепкой своим земельным трудом, как и сама земля.

Пусть идет сюда, в деревню, это истомленное тысячелетним гонением племя, для них хватит здесь и места, и ласки, и работы землепашца, и ничего, кроме горячего привета, они не увидят здесь от деревенских людей. Поверьте, я живу в деревне с малых лет, и живу в старой, коренной русской деревне, и никогда не наблюдал и не слышал, чтоб в ком-нибудь из деревенских клокотала ненависть к евреям за их веру или за их национальность. Напротив, о вере еврейской и преданности этой вере услышите от каждого крестьянина самые лучшие отзывы.

Здесь, в Ясной, жива ещё и до сих пор память об одном работавшем в деревне еврее, который по правилам религии своей совершал омовения на рассвете и зимой бегал для этого на пруд и окунался в прорубь.

Поговорите с нашими стариками о нём, спросите Прокофия, Степана Резунова, Егора, – и вы услышите, какую благоговейную память о себе оставил у них этот человек.

– «Вот израильтянин!» – говорят все. И это чувство совершенно искренно и отражает в себе чувства всего народа нашего.

Наши деревенские люди не могут представить себе душевного состояния людей, удерживающих целый народ в тисках городской жизни и не дающих ему возможности поселиться на земле и начать работать единственную, свойственную человеку земельную работу. Ведь это всё равно что не давать этому народу дышать воздухом.

И, в самом деле, кому может быть от этого плохо, кто может пострадать от того, что евреи поселятся в деревнях и заживут чисто трудовой жизнью, о которой, вероятно, уже истосковался этот старый, умный и прекрасный народ, этот великий непротивленец мира и мученик за веру.

Да, за веру, и только за неё. Пусть не скрывают этого лицемеры наших дней, вроде публициста, приехавшего сюда, – пусть не заворачивают они гонения евреев в тряпки разных вымыслов и дутых ужасов. Евреев гонят только за веру. Ибо стоит еврею сложить три пальца (Л.Н. сделал известный знак), и ему предоставляются все права, в том числе и право селиться на земле и заниматься работой.

И до тех пор, покуда это будет так, останется невытравленным чёрное пятно религиозного гонения, которым омрачили себя люди, к сожалению называющие себя христианами.

Религиозное гонение?! – Было ли когда-нибудь более кощунственное, чем это в основе своей глубоко противоречивое выражение? Религия исключает ненависть и гонения, потому что первое движение души человека, в котором проснулось религиозное чувство, – это сознание власти над собой высокой силы, призвавшей его к жизни и желавшей и желающей блага всему живому. Как же может эта религиозная душа иметь в себе ненависть и воздвигать гонения из-за этой ненависти, т. е. делать дело как раз обратное тому, чего требует от нас Бог? Очевидно, что этого не должно быть, и люди, делающие это, мертвы ещё и не родились к вере. – Нет! От всей души хотелось бы сказать людям, что, создавая еврейский вопрос, они совершают огромный грех. В народных спорах, в особенности по отношению к зависимому народу, следует прежде всего убрать с дороги всякие давления угнетения и всевозможные лишения прав.

Это прежде всего!...» (*Толстой Л.Н. О евреях. СПб., 1908. С. 10–16.*)

Но политика политикой, разговоры разговорами, а прежде всего он писатель, и он брался то за одну тему, то за другую, то за третью...

У Льва Толстого в замыслах было много интересных тем. Ещё в работе у него был роман «Воскресение», а возник новый замысел написать о Хаджи-Мурате. 19 июля 1896 года Л.Н. Толстой сделал запись в дневнике: «Вчера иду по передвоенному чернозёмному пару. Пока глаз окинет, ничего кроме чёрной земли – ни одной зелёной травки. И вот на краю серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязнённый цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, чёрный, стебель надломлен и загрязнён; третий отросток торчит вбок, тоже чёрный от пыли, но всё ещё жив и в серединке краснеется. – Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь да отстоял её» (Полн. собр. соч. Т. 53. С. 99–100). В три дня написал набросок «Репей». Почти через год Толстой ещё оставил запись в дневнике: «Очень захотелось написать, писать Хаджи-Мурата и как-то хорошо обдумалось – умирительно» (Там же. С. 143). И снова повесть не пошла, хотя интерес к ней не остыл, хотя иной раз ему кажется, что писать о Хаджи-Мурате его не влечёт, «это баловство и глупость, но начато и хочется кончить». В мае 1903 года Лев Толстой подробнее высказывает своё отношение к замыслу написать историческую повесть о Хаджи-Мурате: «Пересматривал Хаджи-Мурата. Не хочется оставить со всеми промахами и слабостями, а заниматься на краю гроба, особенно, когда в голове более подходы к этому положению мысли, совестно. Буду делать от себя потихоньку» (Там же. Т. 74. С. 124). «Совестно» Льву Толстому заниматься далёкими историческими делами, собирать документы о той эпохе, он теперь пишет обращение к рабочему народу, сердце его полно антиправительственных настроений, он вникает в международную обстановку, а потому ему кажется зани-

матерью образом Хаджи-Мурада – «это баловство и глупость». Но образ этот крепко засел в его голове и сердце.

После смерти Льва Толстого опубликовали его размышления о повести «Хаджи-Мурат»: «Меня здесь занимает не один Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи – Шамиля и Николая, представляющих как бы два полюса властного абсолютизма – азиатского и европейского» (Русская мысль. 1911. Кн. 2. Отд. 13. С. 69).

И действительно, Толстой вместил в эту короткую историческую повесть не только яркий образ Хаджи-Мурада и его близких сподвижников, но и широкую панораму русских деятелей той поры, начиная с Николая I и его придворных, круг наместника Кавказа графа Воронцова в Тифлисе, показал солдат, офицеров, командиров среднего звена – графа Воронцова-младшего, сына наместника, генерала Меллер-Закомельского и др., солдата Авдеева, его деревню, саклю горцев, их быт и нравы.

Беспощаден зоркий глаз Льва Толстого при создании образа императора Николая. Уже к тому времени, когда Толстой начал повесть, появилось множество воспоминаний бывших царедворцев императора, которые чаще всего представляли объективный портрет императора, но Льву Толстому нужно было внести элемент сатирического описания, а потому эти черты и подчёркнуты. Николай I принимает военного министра графа Чернышёва и его товарища князя Василия Долгорукого, которые должны доложить о кавказских событиях, о выходе Хаджи-Мурада и его желании служить «белому царю»: «Николай, в чёрном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из приглаженных височков, искусно соединённых с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпёртые высоким воротником ожиревшие свежесбритые щеки с оставленными правильными колбасками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость...» А усталость возникла оттого, что на облюбованном месте императора, когда он с маской, подхваченной во время бала, вошёл туда, там уже был уланский офицер и молоденькая «домино». Вечер был испорчен, «вместо обычных свиданий Николая с женщинами», Николай провёл со своей дамой больше часа, а оттого – и усталость. Приняв Чернышёва, «Николай уставился на него своими безжизненными глазами». Лев Толстой не любил Николая I и не скрывал своих чувств при воссоздании его портрета и при описании «стратегических способностей», которых, как знал сам император, у него не было. Но не преминул отметить, что Николай I не забыл зайти к министру двора Волконскому и «поручил выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы».

Критики и исследователи в прошлом и в наши дни дали многогранный анализ повести «Хаджи-Мурат», и сейчас нет необходимости во всех подробностях анализировать образ Николая I и его царедворцев и образ Шамиля и его приближённых. Лишь несколько слов хочется сказать о Хаджи-Мурате, которого Лев Толстой дал во всём его природном уме, такте, отваге и бесстрашии. При всём лаконизме и простоте художественных средств образ Хаджи-Мурада получился ярким и бескомпромиссным как в борьбе с «белым царём», так и с имамом Шамилем. Деспотизм как того, так и другого он резко отрицает, он свободен и погиб как свободный человек, его нукеры сдались в плен, а он под выстрелами недругов встал и пошёл на них, зная заранее о своей гибели. Не раз Лев Толстой покажет, как по-детски улыбается Хаджи-Мурат, и, прощаясь с Марьей Дмитриевной, он «ласково встретился взглядом» с ней, он подружился с Бутлером, они проводили бесконечные разговоры. А перед Хаджи-Муратом был только один вопрос: как спасти семью, мать, двух жён, пятерых детей и восемнадцатилетнего красавца сына.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство? – размышлял Хаджи-Мурат. – Это можно...» Или: «Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему?.. Он лисица – обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того, как я побывал у русских, уже не поверит мне». Так вот оказался Хаджи-Мурат в кольце двух деспотических режимов, а значит, прощай свобода горца, свобода жить по тысячелетним традициям горского народа. И он решил ворваться с преданными аварцами в Ведено и освободить семью от плена и гнёта Шамиля. Он не хотел войны, он хотел мира, но обстоятельства так повернулись, что он оказался в трагическом кольце и против Шамиля, и против русских, которые доверились ему. Лев Толстой, по всему чувствовалось, полюбил этого отважного горца, гордого, смелого, независимого, для которого семья стала выше всех ценностей в мире, в том числе карьерных, религиозных и политических. Полюбил и высоко оценил его подвиг.

В 1905 году Лев Толстой закончил работу над рассказом «Божеское и человеческое» и отослал В.Г. Черткову в издательство «Свободное слово». В России рассказ был опубликован в «Посреднике» в 1906 году.

Как всегда, замысел возник давно. Он хорошо знал о гибели трёх революционеров: Лизогуба, Чубарова и Давиденко, обвинённых в покушении на убийство Александра II и повешенных в Одессе. Познакомился Толстой и с книгой С.М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», вышедшей в Лондоне в 1893 году. Но замысел рассказа «Казнь в Одессе», или «Ещё три смерти», все время откладывался из-за перегруженности. Приступил к работе над рассказом только в декабре 1903 года, а закончил в мае 1904 года, но не раз к нему возвращался, переделывая и дорабатывая его.

«Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством» – так начинал Лев Толстой свой рассказ. И затем следует почти сатирический портрет генерал-губернатора Южного края, который подписывает смертный приговор через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба «за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства». У него – «холодный взгляд и безвыразительное лицо», у него – «сморщенные от старости и мыла, выхоленные пальцы», у него – «чувство подобострастного умиления» императору, у него на минутку возникло сомнение: «Воротить? Не воротить?» бумаги управителю дел со страшным решением о казни, но у него с переборами забило сердце, и он окончательно решил: «Я исполнитель чужой воли и должен стоять выше таких соображений». И – не воротил, «чувство подобострастного умиления» взяло верх в его размышлениях о судьбе богатого дворянина: у Светлогуба нашли динамит, только накануне подброшенный ему, «динамит ещё не доказывает его преступного намерения», говорил генерал-губернатор, но его помощник заверил его, что Светлогуб – «глава шайки», должен быть повешен. Так и случилось в августе 1879 года в Одессе.

Лев Толстой не пощадил генерал-губернатора Южного края генерал-адъютанта Тотлебена, прославленного героя Севастопольской обороны и гениального сапера, взявшего Плевну во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, и белый крест Тотлебен получил за Севастополь.

Совсем в ином свете представлена судьба Анатолия Светлогуба. Он получил от отца богатое наследство, а кругом крестьяне, старики, женщины, дети жили в бедности, не знали тех радостей, которые были доступны ему. «Он чувствовал, что все это было не то, и хуже, чем не то: тут было что-то дурное, нравственно-нечистое», – писал Лев Толстой. Но самое страшное и непонятное – правительство мешало ему создавать для крестьян более благоприятные условия, чем были. Товарищ по университету подсказал ему, что нужно просвещать народ, нужно объединять народ, чтобы он сам добивался своего освобождения «от власти землевладельцев и правительства».

На суде, на допросах, в одиночной камере он не переставал думать о своей судьбе, как счастливо она бы сложилась: у него есть любимая мать, есть любимая девушка, есть средства, не будет горя, одно блаженство, пусть он помучается за терроризм, ведь мученичество – это та же победа, ведь выпустят же его когда-нибудь или сошлют на каторгу, везде можно жить. «Это можно и надо жить так; не жить так – безумие», – подводил итог своих раздумий Светлогубов. И Светлогубов начал читать Евангелие, чуть ли не каждая строчка подтверждала его мысли: «Не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов... Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе». Читая Евангелие, он всё больше убеждался в том, что он так и следовал этому завету: «Да, хотел этого самого: именно отдать душу свою; не сберечь, а отдать». Но почему люди так не поступают, всем было бы хорошо – этот мучительный вопрос так и не находил ответа.

Истинная вера есть, но никак не найдёшь её – этот вопрос мучал и старика раскольника, который отрицал никонианскую церковь, правительство со времён Петра, царскую власть называл «табачной державой», обличал попов и чиновников, он ругался со зрителями, на него надевали кандалы, а он по-прежнему искал истинную веру. И когда он увидел, влезши на окно, что из тюрьмы вывели улыбающегося юношу «с светлыми очами и вьющимися кудрями» с Евангелием в руках, понял, что этот юноша знает истинную веру. И когда он узнал, что в одной с ним тюрьме через несколько лет после смерти «светлого юноши, который, идя на смерть, радостно улыбался», сидит его товарищ по борьбе, Меженецкий, он попросил вахтёра отвести его в камеру революционера. Меженецкий сказал старику раскольнику: «Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют, мучают... И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать... Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное». Старик раскольник в знак благодарности встал на колени и по-своему поблагодарил Меженецкого. Нет, подумал старик, вера светлого юноши другая, он знал её.

Меженецкий столкнулся с новыми молодыми революционерами, которые подвиг и муки народников не почитают, они не считают Меженецкого своим предшественником и учителем, то, что они делали, привело к тому, что установился реакционный режим, террор и убийства губернатора Кропоткина, Мезенцова – это ряд ошибок, у них появились другие лозунги и теории, они считают, что нужна большая промышленность, нужно просвещать рабочих, нужна «социалистическая организация народа», освобождение народа произойдёт тогда, «когда народные массы перестанут быть земельными собственниками и станут пролетариями».

Молодые революционеры ссылались на книги Каутского и общие экономические законы, то есть на марксизм, на Маркса, новых теоретиков революционного движения. Меженецкий ещё раз встретился и поговорил со стариком раскольником, и вновь не открыл ему истинную веру.

Меженецкий оказался в трагических обстоятельствах, из которых он не видел выхода: если слушать молодых революционеров, то выходит, что Халтурин, Кибальчич, Перовская зря рисковали и пожертвовали своей жизнью, и он, герой революции, Меженецкий, отдал революции двенадцать лет своей жизни тоже зря... Это был неутешительный вывод. И Меженецкий отыскал верёвку и повесился.

По-разному толкуют критики и исследователи этот рассказ о трёх смертях: образы Светлогубова, Меженецкого и старика раскольника, так и не нашедших истинной веры, а истинная вера в Евангелии, которая убедила Светлогубова в истинных проповедях Иисуса Христа, которые излагают его ученики; но главное, что усмотрели критики и исследователи – то, что Лев Толстой снова встал на точку зрения своей излюбленной теории – зло нельзя покорять насилем.

В начале 1906 года Лев Толстой заканчивал работу над статьёй «Правительство, революционеры и народ», отослал экземпляр Черткову в Лондон, где она вышла в издательстве «Свободное слово» в 1907 году, и в газету «Русская мысль», где она по решению цензуры была запрещена. В это же время Лев Толстой с удовольствием читал книги Канта («Очень хорошо»), «Общественные движения в России в первую половину XIX века», вышедшую в прошлом году в Петербурге, при этом очень живо воображал Павла и декабристов, писал немного «Александра I», но получалось плохо, брался писать воспоминания – ещё хуже. Наступило время полного равнодушия, два дня Лев Толстой ничего не писал, часто думал о смерти... И вдруг начал читать Максимов «Сибирь и каторга», погрузился в чтение, возникали чудные сюжеты, садись и пиши, но от них он отказался, а увлёкся одной историей о трагических любовных отношениях польских эмигрантов молодого Иосифа Мигурского и дочери богатого пана Альбины Ячевской. «За что?» – так назывался рассказ о неудачных событиях польского восстания 1830 года, которое было быстро подавлено, а его участники, в том числе и Иосиф Мигурский, были сосланы солдатами в Сибирь. К нему приехала Альбина и вышла за него замуж. У них появилось двое детей, мальчик и девочка. Они были счастливы. Ни о каком ослаблении службы не могло быть и речи, так остро критически Лев Толстой оценил деятельность императора Николая I: «Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил на маскарады, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чём попало свои оловянные глаза и говорил: «Пускай служат. Рано». Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближённые: генералы, камергеры и их жёны, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека».

Приехавшего в гости С.А. Стаховича Лев Толстой спросил: «Читали вы Максимова знаменитую книгу «Сибирь и каторга»? Историческое описание ссылки, каторги до нового времени. Прочтите. Какие люди ужасы делают! Животные не могут того делать, что правительство делает» (Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2. С. 37).

Один за другим умерли дети, их можно было спасти, если были бы врачи. Жить в этой ссылке стало невозможно. Они задумали побег, но побег провалился. И несчастная Альбина рыдает: за что страдает её муж, сильный, умный, влюблённый в своё отечество и принимавший участие в его освобождении от царских пут; за что она потеряла своих детей. За что они, поляки, имевшие тысячелетнюю культуру, свои государственные границы, свой национальный характер и свои национальные обряды и быт, всё это вдруг, случайно, по прихоти трёх сильных государств утратили?

Лев Толстой здесь, как в повести «Хаджи-Мурат», ратует за самостоятельность Польши, Чечни, Дагестана, за то, чтобы люди жили по своим национальным обычаям и обрядам.

Вскоре по миру разлетелась весть о том, что Лев Толстой ушёл из семьи, заболел, по требованию близких остановился у железнодорожного служащего на станции Астапово, сюда съезжались корреспонденты, семья, чиновники разных уровней, тревожные вести обрастали подробностями, наконец по всему миру разнеслась печальная весть – граф Лев Николаевич Толстой скончался 7 ноября 1910 года (20 ноября по европейскому времени).

И сразу после смерти Льва Толстого возник вопрос: почему Лев Толстой в 82 года уехал из Ясной Поляны под покровом ночи, тайно, не оставил адреса и не объяснил своих намерений, посетил Горбачёво, Козельск, Оптину пустынь, где прожил два дня, сел в поезд по дороге в Новочеркасск, снят был с поезда тяжелобольным на станции Астапово, где через несколько дней болезни и скончался?

«Утро России» 17 ноября опубликовало письмо Льва Львовича Толстого «Кто виновник?», в котором «злейшим врагом отца моего» назвал В.Г. Черткова. 24 ноября в той же газете выступили Сергей Львович, Илья Львович и Александра Львовна в защиту Черткова. Кто же виновник?

В этот день Лев Толстой доверился только преданному Душану Маковецкому и младшей дочери Александре, вышел словно крадучись, верные слуги приготовили тарантас, и он тайно бежал из своего дома, где он писал свои книги, где рождались и росли его дети, а потом подрастали и его внуки... И всем хватало места, все были сыты, одеты, смеялись и плакали – словом, жили полной жизнью, как и надлежит человеку. А вот уехал, бежал, сначала остановился у сестры Марии Николаевны, потом, не простившись, тоже ночью, сел в поезд с Душаном и Александрой, а через несколько часов пути почувствовал озноб, а потом – температура 38, пришлось на первой же станции выходить.

Личный врач, местные врачи, столичные врачи ничего уже не могли сделать – воспаление лёгких бурно завершало свою беспощадную работу.

И снова всё тот же мучительный вопрос: почему? Почему всё это мучительное и тайное произошло? Александра Львовна по-своему отвечает на этот вопрос: «Жизнь человеческая неизбежно состоит из тяжёлых противоречий. Разум и совесть каждого из нас подсказывает нам возможные из них выводы. У Л.Н. противоречия эти составляют главную трагедию его жизни. С одной стороны, он считал, что не имеет нравственного права на свою семью: жену и детей, не имевших сил отречься от всей той барской жизни, которой они жили. С другой стороны, он чувствовал, что отступает от своего учения, живя в обстановке роскоши и барства. Л.Н. невыразимо страдал от создавшегося противоречия и не переставая искал из него выхода».

Но это только одна сторона... Лев Толстой и до этого не раз собирался уходить от семейного гнёта, который он, собрав все свои силы, выдерживал, порой это становилось неспособно. В дневнике самого Льва Толстого есть и такие строки: «Все так мучительно... Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена... Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее... Я не могу далее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить...»

Оставаясь в Ясной Поляне, утверждал Чертков, Л.Н. приносил в жертву свою жизнь, свои интересы, это был «великий подвиг».

Все дети написали в эти дни письма, в которых выражали своё отношение к происходящему. Все осудили отца – бросив мать, он совершил нехристианский поступок: «Нет, живи с ней, терпи её, будь с нею ласков – это будет истинное христианство», – говорил Илья Львович.

Александра Львовна записала в своём дневнике 27 октября 1910 года: «Отец сидел уже и читал письма: «Вот возьми, прочти и, пожалуй, перепиши, если разберёшь, – сказал он мне, – это письмо маме, которое я оставляю ей, если уйду. А я всё больше и больше думаю об этом, – прибавил он. – Уж очень тяжело. Вчера ночью опять пришла, спрашивает меня, что мне пишет Чертков. Я ответил, что письмо деловое, что секретов в нём нет, но я принципиально не хочу ей давать читать. Пошли упрёки... Тяжела эта вечная подозрительность, постоянное заглядывание из дверей, перерывание из бумаг, подслушивание, тяжело. А тут уходят последние дни, которые надо употребить на другое...»

И десятки документальных свидетельств приоткрывают нам подробности этой трагической истории, которая началась давным-давно, лет двадцать пять тому назад, когда Лев Толстой почувствовал, а потом и осознал громадную разницу между Софьей Андреевной и своими жизненными целями и устремлениями. Но тогда ему удавалось подавить в себе чувство отчуждения, Софья Андреевна была полностью во власти семейных забот, маленькие и взрослеющие дети поглощали её энергию чуть ли не без остатка. Но летом 1910 года противоречия обострились и порой принимали самый острый характер. Особенно после того, как Лев

Толстой прожил в имении В.Г. Черткова. Софья Андреевна так ненавидела Черткова, что, по её словам, готова была его убить. Софья Андреевна дала телеграмму Толстому: «Умоляю приехать скорее – двадцать третьего». Толстой ответил: «Удобнее приехать завтра днём, телеграфируйте, если необходимо, приедем ночью». Софья Андреевна, по свидетельству биографов, уговорила Варвару Феокритову от своего имени дать телеграмму следующего содержания: «Думаю, необходимо. Варя». Но оказалось, что Софья Андреевна пребывает в самом тяжёлом нервном раздражении, а сорвать его не на ком. В это время у Толстого возрастает омерзение к своей роскошной жизни, которую он ведёт сам и его семья среди «голодных, полуголых людей, живущих во вшах, в курных избах». Он иногда срывался, высказывал своё отношение к детям и Софье Андреевне, которая тут же устраивала ему сцены, со слезами, истерикой, рыданиями... Эти сцены участились после того, как она узнала, что Л.Н. Толстой написал новое завещание, а «Дневники» передал Черткову. Как только Софья Андреевна узнала об этом, тут же поехала к Черткову и забрала «Дневники», затем поехала в Тулу к дочери Татьяне и вместе с ней сдала «Дневники» на хранение в отделение Государственного банка. После этого Софья Андреевна стала гораздо спокойнее и добрее, а Лев Николаевич старался ничем не нарушать это состояние. Но стоило ему получить какой-либо документ или письмо, как она тут же появлялась у него в кабинете и требовала показать этот документ или рассказать его содержание. Секрета в документах или письмах никакого не было, но Толстому было неприятно осознавать, что за ним идёт постоянная слежка, и он отказывался показывать или рассказывать, и тогда снова начиналась истерика. Свидетель этих дней, биограф П.И. Бирюков, спустя несколько лет вспоминал об одном из разговоров с Софьей Андреевной: «Софья Андреевна... в почти часовой беседе излила мне всю свою наболевшую душу. Трудно, конечно, передать эту беседу: это был страстный вопль, так как она сама чувствовала, что я лично ничего не мог сделать. Она заявила мне, что она очень несчастна, что Чертков отнял у неё Льва Николаевича». «И жалко её, и невыносимо гадко», – оставил одну из последних записей Лев Толстой в дневнике. Похоронен в Ясной Поляне без церковного обряда.

Почти весь XX век жизнь и творчество Л.Н. Толстого служили примером чести, совести и преклонения для русского писателя и читателя.

Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 14, 19–20, 22. М., 1978–1985. Рассказы, повести, дневники, письма.

Толстовский ежегодник. М., 2001.

Толстая А. Об уходе и смерти отца (неопубликованные материалы) и др.

Антон Павлович Чехов (17 (29) января 1860 – 2 (15) июля 1904)

Антон Павлович Чехов, так же как и Лев Толстой, оказал огромное влияние на развитие русской литературы XX века. Чехов представлял совсем иную общественно-политическую среду. Он родился в Таганроге в большой дружной купеческой семье, его дед по отцовской линии был крепостным, как и его отец. Дед выкупил себя из крепостной неволи, стал управляющим имением. Отец имел бакалейную лавку, три брата и сестра, естественно, помогали родителям. А потом – церковный хор, таганрогская гимназия, университетская медицина, первые литературные наброски в мелких сатирических журналах, знакомства с научной и литературной средой, Николай Лейкин, «Осколки московской жизни», Билибин, первые рассказы, на вечеринках спорили о сатире Щедрина, восхищались Тургеневым и Львом Толстым. Но видели и другое: в пьесе «Платонов» семнадцатилетний Чехов создал образ сельского учителя Михаила Платонова, о котором один из персонажей говорит: «Платонов, по-моему, есть лучший выразитель современной неопределенности... Это герой лучшего, еще, к сожалению, не напи-

санного, современного романа... Под неопределенностью я разумею современное состояние нашего общества: русский беллетрист чувствует эту неопределенность. Он стал в тупик, теряется, не знает, на чем остановиться, не понимает... Трудно понять ведь этих господ!.. Романы донельзя плохи, натянуты, мелочны... и немудрено! Все крайне неопределенно, непонятно... Все смешалось до крайности, перепуталось...» (Полн. собр. соч. и писем. М., 1974–1983. Т. 11. С. 16). Легко себе представить, что и Чехов примерно так же думал о состоянии русской литературы, когда начал работу над этой неудачной пьесой в 1877 году. Он сам чувствует неопределённость, романы плохие, всё перепуталось, и ему вовсе не хочется идти по этому пути. Хотелось бы быть Достоевским, Тургеневым или Львом Толстым, но этот путь исчерпан литературными гигантами. Старший брат Александр, окончив университет по физико-математическому факультету, увлёкся литературой, писал рассказы и повести, стал сотрудником газеты «Новое время», своими советами натолкнул и Антона, почувствовавшего свои литературные способности, на эти занятия. Пьеса о Платонове оказалась неудачной, о ней вспомнили только после революции. А мать и младшие дети нуждались в поддержке. И Чехов последовал за старшим братом, стал писать короткие рассказы, чаще всего юмористические, иногда серьёзные, печатался в сатирических и юмористических журналах, таких как «Стрекоза», «Будильник», «Минута», «Сверчок», «Развлечение», «Осколки», почти всегда под псевдонимом, их было, как писали биографы и исследователи, больше пятидесяти, но чаще всего под псевдонимом Антоша Чехонте. Юный Чехов к этому относился как к литературному заработку, оставляя свою природную фамилию для серьёзных медицинских занятий, окончив университет в середине 1884 года и принимая больных в Воскресенске, Звенигороде, участвуя как эксперт в судебных разбирательствах. В это время он продолжал печатать свои фельетоны «Осколки московской жизни».

А в 1892 году началась новая эпоха, умный Мережковский констатировал, что нужны новые формы, как во Франции, пусть ругают журнал «Декадент», но всем ясно, что он в этой неопределённости ищет что-то новое, которое может соответствовать духовному состоянию людей русского общества. И нам нужно искать. Великий граф Лев Толстой тоже начал перестраивать свою эстетическую систему, задумал написать роман «Воскресение», много раз начинал и откладывал повесть «Хаджи-Мурат». «Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, – писал Чехов 27 марта 1894 года А. Суворину, – и действовали на меня не основные положения, которые мне были известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человечеству больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в «за и против», а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст» (Собр. соч. Письма. Т. 5. С. 283–284). Но дом Чехова не оказался пустым, учёба у классиков пошла на пользу молодому писателю. Григорович, прочитав его рассказы, написал письмо, попросив его отказаться от псевдонима и подписывать свои сочинения своей фамилией. Об этом же просил и его приятель В. Билибин. Колебания закончились, как только отказаться от псевдонима попросил его издатель А. Суворин: так Антоша Чехонте стал Антоном Чеховым. И тут же сформулировал в письме писателю А. Плещееву своего рода программу: «Я хотел бы быть свободным художником и – только... Моя святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником» (Там же. Т. 3. С. 11).

И у Чехова как бы естественно рождаются новые замыслы и новые формы. Он так уплотняет рассказ, что чуть ли не в каждом из них воплощён по своей насыщенности романский

замысел, с краткой биографией персонажа, с проблемами, конфликтами, решениями. Самое значительное произведение этого периода повесть «Степь» (1888), затем рассказы «Страхи», «Сильные ощущения», «Скука жизни», «Горе», «Свадьба», десятки рассказов о врачах, о крестьянах, об актёрах, художниках, о детях, инженерах, адвокатах, студентах, учителях, в каждом из этих персонажей Чехов подмечает какие-то происходящие в них перемены, какие-то сдвиги в сознании, которые невозможно понять и объяснить. Не сам по себе эпизод, происшествие, случай интересуют художника, а его переживание, трактовка, психологическое объяснение того, кто участвует в этих происшествиях. На сочинения Чехова обратили внимание критики. Так, один из самых одарённых критиков Н. Михайловский писал: «Г. Чехов – большой талант. Это факт общепризнанный. Но почитатели г. Чехова резко разделяются на две группы. Одни возводят своеобразную манеру его писания в принцип. В том безразличии и безучастии, с которыми г. Чехов направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и слона, на слезы и воду, на красные и всякие другие цветки, они видят новое откровение, которое величают «реабилитацией действительности» и «пантеизмом». Все в природе равноценно, говорят они, все одинаково достойно художественного воспроизведения, все может дать одинаковое художественное наслаждение, а сортировку сюжетов с точки зрения каких бы то ни было принципов надо бросить, что и делает г. Чехов. Другие, напротив, скорбят об этой неразборчивой растрате большого таланта. Я принадлежу к числу этих последних. Высоко ценя большой талант г. Чехова, я думаю, что, если бы он расстался со своим безразличием и безучастием, русская литература имела бы в его лице не только большой талант, а и большого писателя» (Сочинения. Т. 6. СПб., 1897. С. 1044).

В это время А. Чехов уже опубликовал повесть «Степь», написал и поставил в театре Корша пьесу «Иванов» (1887), за сборник рассказов «В сумерках» получил половинную Пушкинскую премию, опубликовал повести «Скучная история» (1889), «Дуэль» (1891), «Палата № 6» (1892), «Попрыгунья» (1892), «Скрипка Ротшильда» (1894), «Учитель словесности» (1894), состоялась поездка на Сахалин и работа над очерковой повестью «Остров Сахалин» (1894). Он хорошо знаком с писателями Лесковым и Короленко, вхож в редакции ведущих журналов и газет «Северный вестник», «Новое время», в 1895 году познакомился со Львом Толстым, а в 1898 году состоялось знакомство со Станиславским и Немировичем-Данченко и созданным ими Московским Художественным театром.

Словом, Чехов вошёл в большую русскую литературу как ведущий и полноправный член сообщества. Чуть ли не на каждую публикацию Чехова откликается критика, не только Михайловский, но и Скабичевский, и Лев Толстой, и Короленко, и Лесков, вокруг его произведений возникает полемика, острая, страстная, нетерпеливая... «Злоумышленник» – превосходный рассказ, – говорил Л. Толстой. – Я его сто раз читал» (Литературное наследство. Т. 68. М., 1960. С. 874). «Злоумышленник» напечатан в 1885 году, а 24 марта 1897 года А.С. Суворин записал в своем «Дневнике» (побывав на съезде актёров, где говорили много глупостей, мол, что русские не созрели до парламентаризма), что встретился с Чеховым: «Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в «Эрмитаже». Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Сегодня он ушел к себе в «Б. Моск.» гостиницу. Два дня лежал у меня. Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое испытание. «Для успокоения больных, мы говорим во время кашля, что он – желудочный, а во время кровотечения, что оно – геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки» (Дневник А.С. Суворина. Изд-во Л.Д. Френкель, Москва; Петроград, 1923. С. 150–151). Прошло всего лишь чуть больше десятка лет, а как изменилась судьба Антона Чехова: после первого успеха его рассказов и повестей, он только что сделал первые серьезные шаги в драматургии, написав драму «Иванов» и «Чайку», ещё не переданную для постановки режиссёрам Станиславскому и Немировичу-Данченко, а тут серьезные признаки

серьёзной болезни – чахотки. Для Чехова-врача стало очевидно, что жить ему осталось не так уж много.

Этот трагический случай многое открывает в жизни Суворина и Чехова.

Как только Чехов познакомился с Сувориным, был покорен одаренностью главного редактора и хозяина «Нового времени», а вскоре просто и не представлял себе жизни без него. Иногда критики и историки литературы напоминают современным читателям, что эта дружба была лишь на первых порах, Чехов ссорился с Сувориным, который, дескать, проводил чуть ли не государственную политику, был неким официозом, а известный писатель ценил только «абсолютнейшую свободу», в России же существовала жестокая цензура. Но в письмах Чехова Суворину открывается настоящая и глубокая приязнь к маститому литератору: «Обидно, что Вы уезжаете за границу. Когда я прочел об этом в Вашем письме, то у меня в нутре точно ставни закрыли. В случае беды или скуки камо пойду? к кому обращусь? Бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а кроме Вас я ни с кем не переписываюсь и ни с кем долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всех моих знакомых, а значит, что я к Вам привык и что только с Вами я чувствую себя свободно», – писал Чехов Суворину в августе 1893 года (Письма. Т. 5. С. 223). В письмах Суворину Чехов раскрывал свои замыслы, писал, что в пьесе «Иванов» он «лелеял дерзкую мечту» противопоставить своих героев всем «ноющим и тоскующим людям», которыми переполнена литература, «положить предел этим писаниям», но замысел не удался: прежний Иванов, в котором была молодость, честность и надежды, был убит старым Ивановым, переродившимся и выродившимся в лишнего человека, этой трагедии он пережить не мог и кончил самоубийством. О пьесе много говорили и писали, и Суворин, и Короленко, и Николай Михайловский, высказывали разные точки зрения, но Лесков подвел свой итог о пьесе: «Учительная пьеса... К сожалению, слишком много у нас «Ивановых», этих безвольных, слабых людей, роняющих всякое дело, за которое ни возьмутся. Умная пьеса! Большое драматургическое дарование» (*А.П. Чехов* в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 313).

Чехов писал много рассказов и повестей, но некоторые из них он выделял особо. В разговоре с Иваном Буниным Чехов с недоверием отнёсся к тем критикам, которые увидели в его творчестве пессимизм, некую хмурость и холодность к изображённому материалу, ведь самый любимый его рассказ – это «Студент» (1894) (*А.П. Чехов* в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 514). Студент духовной академии Иван Великопольский возвращался с охоты в хорошем настроении, погода была хорошая, но потом с востока подул «холодный, пронизывающий ветер» и все нарушил, стало жутко, вечерние сумерки пришли быстрее, чем обычно. Стало мрачно на душе, всё утопало в вечерней мгле, была Страстная пятница, дома ничего не варили, он хотел есть, по-прежнему дул жестокий ветер: «И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета – все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет ещё тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой» (*Чехов А.П.* Рассказы. М.: Современник, 1984. С. 169). Студент подошел к большому костру, который развели две вдовы, мать и дочь, и вспомнил, как в такую же холодную и унылую ночь во время Тайной вечери Пётр сказал Иисусу, что он готов с ним «в темницу и на смерть», а Иисус ответил ему: «Говорю тебе, Пётр, не пропоет сегодня петел (то есть петух), как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Студент рассказал известную библейскую историю, и про Иуду, и про Петра, и про горький плач Петра, когда он вспомнил пророчество Иисуса. Василиса все время улыбалась, потом вдруг всхлипнула: «Слезы, крупные, избыточные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слёз, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль» (Там же. С. 172). И

студент задумался: если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, значит, то, что происходило девятнадцать веков тому назад, близко ей, близка судьба Петра и Иисуса. «И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой... и невыразимое сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевало им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла» (Там же. С. 172). Как видим, здесь нет ни хмурости, ни пессимизма, хотя эта древняя библейская история таит в себе и хмурость, и пессимизм.

В рассказах «Чёрный монах» (1893) и «Учитель словесности» (1894) вроде бы всё начинается благополучно, Коврин и Никитин приезжают в имение, поражают своим видом и учёностью владельцев, женятся на симпатичных девушках, а потом начинается расплата, расплата разная по сути персонажей, но одинаково жестокая. Коврин много работал, добился некоторых успехов, возомнил себя чуть ли не гением, которому всё доступно, а по ходу развития сюжета сходит от переоценки своих сил с ума. С первых же фраз рассказа мы знаем, что магистр Андрей Васильевич Коврин «утомился и расстроил себе нервы» (Там же. С. 126). Тут же получил он от Татьяны Песоцкой письмо, в котором его приглашали погостить в имении Песоцких. Как только приехал, увидел, что Песоцкие в большой тревоге: к утру будет мороз, а у них огромный и прекрасный сад, как бы утренник не повредил сад. Как-то Коврин рассказал Татьяне легенду о чёрном монахе, который творил чудеса на земле, а потом перекочевал на небо. Эта легенда вошла в сознание Коврина, он постоянно о ней думает. Неожиданно для себя, гуляя по парку, он увидел чёрного монаха, поговорил с ним, а тот ему напроорочил, что он гений: «Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно» (Там же. С. 137). Сначала Коврин понимал, что чёрный монах – это мираж, он существует в его возбужденном воображении, но слова, которые говорит ему чёрный монах, падают на благодатную почву. Коврину по душе слова чёрного монаха, но ведь он – мираж, легенда, призрак, галлюцинация. Коврин догадывается, что он психически болен. Но после этого разговора с призраком Коврин словно ожил, Татьяна увидела его «восторженное, сияющее лицо». Он тут же признался в любви Татьяне и предложил ей выйти за него. Но не прошло и много времени, как Татьяна и Егор Семёныч Песоцкий поняли, что Коврин ненормальный. Лечение не помогло, Коврин получил кафедру, но горлом пошла кровь, он не мог выйти к студентам. Коврин и Татьяна разошлись. Наконец от Татьяны пришло письмо, отец умер, сад погибает, она ненавидит Коврина и желает, чтобы он погиб: «Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим...» (Там же. С. 147).

И кончается рассказ полным развенчанием Коврина. Он по-прежнему много работает, взялся как-то за подготовку «небольшой компилятивной работы», но, трезвея, приходит к печальному выводу: он, Коврин – «посредственность», но как много берёт жизнь от него, надо было пятнадцать лет учиться, работать дни и ночи, чтобы стать посредственным профессором. Вдруг снова появился чёрный монах и упрекнул его за то, что он не поверил ему, что он гений. И, мучительно страдая от своей обыкновенности, Коврин ужаснулся, увидев, как текла у него из горла кровь. «Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду,

а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только. Что его слабое человеческое тело уже утерьяло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв и на лице его застыла блаженная улыбка» (Там же. С. 149). *Блаженная*, он поверил, что он – гений.

Никитин, один из главных персонажей рассказа «Учитель словесности», тоже полон восторга от близости с юной и прекрасной Машей Шелестовой, он делает ей предложение, она охотно его принимает, но нужно поговорить с отцом и старшей сестрой. Вот все дела улажены, и Никитин счастлив, он признаётся и Маше, что он счастлив с ней: «Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность – все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью» (Там же. С. 163), но повсюду ему скучно, он видел директора и своих коллег в церкви, ему казалось, что все они тщательно скрывают «свое невежество и недовольство жизнью», к ним пришли тесть и Варя, отец очень много ел, а Варя тоскливо жаловалась на головную боль, и всё это было бесконечно скучно. Он закрылся в кабинете и вскоре понимает, что вся его жизнь полна никчемных пошлостей. А в дневнике записал:

«Где я, боже мой?! Меня окружает пошлое и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» (Там же. С. 168).

В рассказах Чехова особенно отчётливо поставлена проблема гибели человеческого таланта. И в Коврине, и в Никитине гибнут полезные для общества качества. Но в одном из последних рассказов «Невеста» (1903) Чехов обрушился на тех, кто просто жил и ничего не делал. Двадцать три года Надя ничего не делала, а в последнее время мечтала о замужестве, наконец мечта осуществилась. И она выходит замуж за Андрея Андреевича, сына протоиерея, вскоре эта свадьба состоится, они смотрят квартиру, где будут жить после свадьбы. Но в это время приехал погостить Александр Тимофеич, «или попросту Саша», который учился, еле-еле окончил школу живописи по архитектурному отделению, служил в одной из московских литографий. Он соглашается с Надей, что мама, Нина Ивановна, милая и добрая женщина, но почему, как и двадцать лет тому назад, на кухне «четыре прислуги спят прямо на полу, кровати нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцеговиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы – тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает» (Там же. С. 271). Надя много раз это уже слышала, но сейчас ей «стало досадно».

А Саша продолжал внушать Наде, как «нечиста, безнравственна эта ваша жизнь». После этого Надя другими глазами увидела своих родных, она увидела «пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость». И Нина Ивановна, уговаривая Надю, тоже говорила пошлость, свадьбы не будет, Надя не любит своего жениха, презирает, как и «всю эту праздную, бессмысленную жизнь» (Там же. С. 279). Она хочет уехать отсюда, хочет учиться. А как только она села в вагон, ей увиделось, что перед ней раскрывается «громадное, широкое будущее». А вернувшись в поместье, она ходит по саду, ей кажется, что всё здесь состарилось: «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет!» Но вскоре в доме получили телеграмму, что в Саратове скончался Саша. Надя уехала из дома: «Впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее» (Там же. С. 285).

А семь лет тому назад, в 1896 году, Чехов написал «Дом с мезонином (Рассказ художника)», в котором показал, почему красивая, умная и деловая Лидия Волчанинова так и оказалась несчастливой. Она много работает, лечит больных, учит детей и взрослых, борется с Балагиным, который держит весь уезд в своих руках, «все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет», живёт этой борьбой и, сколотив сильную партию,

прокатывает Балагина на очередных выборах. Она живёт в своем имении, отец её был тайным советником, хозяйка и две дочери вполне обеспечены. В семье Лиду называют замечательной. Но художник, рисуя свои пейзажи, постоянно спорит с Лидией, показывая односторонность и ущербность её устремлений: художник, резко критически оценивая себя, дескать, он странный человек, он постоянно недоволен собой, не верит в своё дело, он издерган, обращает внимание Лиды на то, что существующие условия жизни служат только порабощению. «Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья... их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных – только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобию; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут...» (Там же. С. 180–181). Лида это уже слышала, но надо же что-то делать, «нельзя сидеть сложа руки». Художник, за которым скрывается сам Чехов, настаивает на духовной деятельности, призывает постоянно искать правду, справедливость, смысл жизни. А между тем сознаёт, что «деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты» (Там же. С. 182). А между тем из деревни вышли многие замечательные люди, и дед самого Чехова, и Суворин, и многие другие.

В это удивительное время Антон Чехов замечал, что мало что делают и яркие, истинно талантливые люди. Наблюдая жизнь своих братьев Александра и Николая, наблюдая их окружение, Чехов в рассказе «Талант» со скорбью резко осуждает безделье людей: «Коллеги, все трое, как волки в клетке, шагают по комнате из угла в угол. Они без умолку говорят, говорят искренно, горячо; все трое возбуждены, вдохновлены. Если послушать их, то в их руках будущее, известность, деньги. И ни одному из них не приходит в голову, что время идет, жизнь со дня на день близится к закату, хлеба чужого съедено много, а еще ничего не сделано; что они все трое жертва того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое-трое выскакивают в люди. Все же остальные попадают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек». И среди них – его брат-художник, Николай, так мало написавший картин...

Сюжеты рассказов постоянно приходили к Чехову, но и мысль о драме не оставляла его. «Платонов» и «Иванов» – это лишь пробы пера в драматургии, театр его по-настоящему манил. Постоянные споры с Сувориным о литературе, о живописи, о театре волновали его, а сколько Чехов получал писем и сколько отправлял писем своим корреспондентам. Споры, полемика непременно звучала в этой переписке, много было волнующих вопросов, которые не давали покоя даже тогда, когда он писал рассказы и повести.

21 октября 1895 года Чехов сообщил Суворину, работая над пьесой «Чайка»: «Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» (Письма. Т. 6. С. 8). Чехова ещё волновала статья А.С. Суворина «Наша поэзия и беллетристика» (Новое время. 1890. 11 мая), хотя прошло уже пять лет и полемичность статьи несколько поутихла. Суворин резко говорил о современных писателях, которые, в сущности, ничего не дали своим читателям, подражая своим предшественникам в выборе своих героев и героинь. Жизнь изменилась, изменились и люди, а литература по-прежнему топчется на месте: Суворин обращает внимание читателей, что должны знать современные писатели; а если они пойдут старыми, протоптанными путями, то литература превратится в праздное дело, не нужное для современного читателя.

Чехов не только знал об этой статье, но и принимал устное участие в её разработке. Отсюда и письмо Суворину о «Чайке». Он не раскрывает здесь содержания пьесы, не гово-

рит о своем выборе сюжета, который словно бы подхватывает мысли своего времени о драматическом воздействии на человека искусства. Ни властная Аркадина, ни её сын Константин Треплев, написавший пьесу в новом духе, ни обаятельная Нина Заречная, мечтающая стать актрисой и ставшая ею, ни известный писатель Тригорин, увлекший провинциальную Нину в свои объятия, – вроде бы никто из этих действующих лиц не воплощает творческий замысел Чехова, а так уж получилось, что все вместе они, в разговорах, спорах, конфликтах, порой драматических и трагических, воплощают главную идею художника – это «новый род драматического искусства, в котором реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа... Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений – ваши делают это...» – писал Горький Чехову в декабре 1898 года, точно выражая главную проблематику пьесы.

Да, это новый род драматического искусства, в котором душа художника слагается из множества человеческих душ: Треплев с первых страниц проклинает старый театр, в котором всё так привычно, одни и те же действующие лица говорят привычные слова, «когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, – мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, – что я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему на мозг своей пошлостью»; он написал свою пьесу в новых формах, потому что «современный театр – это рутинная, предрасудок». Очевидно, что в уста молодого Трелева Чехов вложил собственные мысли, он тоже мечтает о новых формах в искусстве. В «Чайке» тоже показана будничная «жизнь, какая она есть, и люди, какие они есть», но в пьесе дана широкая картина взаимной связи реального и будничного и поэтически обобщённого света глубоких философских обобщений, которая ясно должна звучать в подтексте театральной игры. Но пьеса Трелева терпит крах потому, что он далёк от реального мира с большими страстями и противоречиями. В пьесе Трелева «нет живых лиц», в пьесе «трудно играть» – таков приговор Нины Заречной.

Но и в Тригорине угадывается много чеховского, его мысли, чувства, переживания. И здесь дело не в соперничестве Трелева и Тригорина в отношении к Нине Заречной, а в отношении к литературе, к женщинам, к искусству. Нина Заречная с завистью говорила о творчестве Тригорина, а он недоволен своим творчеством: «Я не люблю себя как писателя... Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, неодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь ещё гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, говорить о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и, в конце концов, чувствую, что я умею писать только пейзажи, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей». В письмах Чехова можно найти похожие мысли и о собственном творчестве. Но судьба Тригорина совсем иная.

Работая над пьесой, Чехов постоянно думал о том, что происходило совсем недавно и с ним самим и с Ликой (Лидия Стахиевна) Мизиновой, «девушкой необыкновенной красоты», как писали современники, мечтавшей об оперной карьере. Она часто бывала у Чехова в Мелихове. Вскоре она полюбила Чехова, который тоже был равнодушен к ней. Юрий Соболев, один из биографов Чехова, впервые напечатал письма Лики к Чехову. В одном из них она писала:

«Вы отлично знаете, как я отношусь к Вам, потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю также и Ваше отношение, или снисходительное, или полное игнорирования. Самое мое горячее – вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой. Умоляю Вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не выдайтесь со мной. Для

Вас это не так важно, а мне, может быть, это и поможет Вас забыть...» (*Соболев Юр.* Чехов. М., 1934. С. 208–209). Чехов дважды, как свидетельствуют биографы, отверг Лику Мизинову, она влюбилась в женатого писателя Потапенко, но и он не мог дать ей большого полноценного чувства.

Нина Заречная испытала тягости жизни и тягости молодой актрисы, когда Тригорин не верил в театр, смеялся над её мечтами, и она пала духом. «А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького, – признавалась она Треплеву. – Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно». «Жизнь груба», – утверждает Нина Заречная, пройдя через общение с «образованными купцами», пройдя через все тернии судьбы молодой актрисы и оставшись сама собой. Юность прошла, наступила душевная зрелость, когда перенесено много страданий, и она нашла свою дорогу, привлекая своей нравственной силой и мужеством.

В пьесе «Чайка» – действительно «пять пудов любви»: Нина Заречная любит Треплева и Тригорина, Тригорин любит Нину и Аркадину, Маша Шамраева – Треплева, а учитель Медведенко – Машу, Полина Андреевна Шамраева – доктора Дорна. Но всюду любовь терпит крушение, пронизывая все акты пьесы безрадостной любовью. Первые постановки «Чайки» в Александринском театре успеха не имели. Режиссёры и актёры не поняли новаторства драматурга. Только с созданием Московского художественного театра под руководством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко был найден секрет чеховской драматургии, и «Чайка», поставленная МХТ в декабре 1898 года, имела громадный успех. «Чайка» – единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссёра, а ты – единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром», – писал В.И. Немирович-Данченко.

Через год, в 1899 году, МХТ с таким же успехом поставил новую пьесу Чехова «Дядя Ваня» (1896). Сюжет пьесы так же прост, обыкновенен, будничен, как и в «Чайке», но и здесь «реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа»: «Содержание в ней огромное, символическое, и по форме она вещь совершенно оригинальная, бесподобная вещь», – писал Горький Чехову.

Дядя Ваня, Иван Петрович Войницкий, умный, одарённый человек, двадцать пять лет работал в имении, которое принадлежало по наследству его племяннице Соне, «как самый настоящий приказчик», чтобы погасить немалый долг, оставшийся при покупке имения, и высылал заработанные деньги на содержание отца Сони, профессора Серебрякова. То был идеал, идол, которому поклонялись Иван Петрович и Соня и ради которого они готовы были на все жертвы, готовы были лишиться себя всех земных радостей, лишь бы Серебряков ни в чём не нуждался в достижении своих благородных целей. А когда профессор Серебряков приехал в имение с молодой и красивой женой Еленой Андреевной, то вскоре все обитатели и гости имения убедились, что профессор – пустой, самовлюблённый и самоуверенный человек, который мало что знает, привыкший жить в городе, ради того, чтобы иметь средства, он предложил продать имение. Но это внешняя сюжетная линия, внутреннее движение совсем не такое уж простое: Иван Петрович и доктор Астров влюбляются в Елену Андреевну, Соня давно покорена талантливым доктором Астровым, но складывающуюся жизнь Елена Андреевна, «роскошная женщина», по словам Астрова, своими интригующими разговорами разрушает, весь налаженный быт взрывается, Войницкий, Астров, Соня остаются как бы не у дел, без всякой надежды устроить свою жизнь.

Потрясает сцена в пьесе, когда самодовольный профессор Серебряков собирает всех своих родственников и объявляет, что нужно продать имение – на вырученные средства он и его жена могут жить в столице, поскольку на средства профессора в отставке он прожить в столице не сможет. Все потрясены. Взорвался и возмущённый Иван Петрович, дядя Ваня, он

бросает в адрес профессора гневные слова: «Ты погубил мою жизнь! Я не жил, не жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!» В ответ Серебряков называет Войницкого «ничтожеством». Дядя Ваня стреляет в Серебрякова, но оба раза безуспешно, Соня уговаривает дядю Ваню смириться с обстоятельствами, и они снова работают на Серебряковых.

В этой пьесе, с подзаголовком «Сцены из деревенской жизни», значительна судьба доктора Астрова. Это один из главных персонажей пьесы, ему отводится роль жениха для Сони, они много говорят, и вот однажды Астров высказывает Соне одну из самых заветных своих мыслей: «Знаете, когда идешь темною ночью по лесу и если вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу... Я работаю, – вам это известно, – как никто в уезде, судьба бьет меня не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька».

Соня испытывает к нему глубокие чувства, и он бывает в имении из-за неё. Ему нравится эта добрая, умная и чистая девушка, но с приходом Елены Андреевны его захватила её неповторимая красота. И всё разрушилось. Астров в финале пьесы говорит ей откровенные слова: «Как будто бы вы и хороший, душевный человек, но как будто и что-то странное во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали что-то, должны были побросать свои дела и все лето заниматься только подагрой вашего мужа и вами. Оба – он и вы – заразили всех нас вашей праздностью. Я увлёкся, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели, в лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот... И так, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение... и я убежден, что если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное».

После этих двух пьес, с успехом прошедших в МХТ, Чехов понял, что пьесы – это тоже его призвание. Он публикует повести «Мужики» (1897), «В овраге» (1900) и «На святках» (1900), в которых написал безрадостные картины деревенской жизни. Критика оценила их по-разному. Повесть «Мужики» была опубликована в московском журнале «Русская мысль», ставшем органом либерального направления. «Новое слово» под редакцией П. Струве, М. Туган-Барановского, А. Калмыковой и В. Поссе дала повести высокую оценку. Н. Михайловский выступил с резким осуждением «Мужиков». С разными точками зрения выступали и другие критики из журналов и газет.

После восхождения на царский престол Николая II и трагической Ходынки по всему чувствовалось, что в имперской России происходит что-то серьёзное, начинаются перемены сверху донизу. «Три сестры» (1901) Чехов завершил как раз накануне демократических перемен. С. Елпатьевский, хорошо знавший Чехова, вспоминал: «Поднимавшаяся бурная русская революция подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвертывавшийся от политики, весь ушел в политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и во всяком случае скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному... И весь он другой стал – оживленный, возбужденный, другие жесты появились у него, новая интонация слышалась в голосе... И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими, не сомневающимися, не чеховскими репликами.

– Как вы можете говорить так! – кипятился он. – Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество, и рабочие!..

Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер» (Воспоминания за 50 лет. Л., 1928. С. 306–307).

В пьесе «Три сестры» один из персонажей, Тузенбах, тоже говорит о буре: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубежденность к труду, гнилую скуку... через какие-нибудь двадцать пять – тридцать лет работать будет уже каждый человек. Каждый!»

В пьесе предстают три замечательных сестры и их брат Андрей Прозоровы, и по ходу развития действия зрители видят, как дом Прозоровых, отметил режиссёр В.И. Немирович-Данченко, из царства красоты и мечты превращается в царство пошлости и мещанства, в торжество Наташи и Протопопова: одна за другой Ирина, Ольга и Мария покидают свой дом. Их защитники Вершинин и Тузенбах тоже далеки от реальных проблем жизни, они так же беззащитны и беспомощны. Наташа как невеста Андрея появилась в доме Прозоровых в розовом платье с зелёным поясом. Ольга удивилась и испуганно сказала, что «это нехорошо». А Наташа тут же спросила: «Разве есть примета?» Но пройдёт какое-то время, и Наташа победоносно сделает замечание Ирине: «Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс... Это безвкусица». Скромная и застенчивая в первом акте, Наташа как хищница припомнила обиды, нанесённые ей, и отомстила. И ещё много происходит событий, которые нравственно отделяют трёх сестёр от Наташи, что порождает в ней зависть и ненависть к сёстрам. А события в пьесе происходят как бы сами собой. Маша замужем за пустым Кулыгиным, влюбляется в благородного Вершинина и становится его любовницей. Наташа становится женой Андрея, хозяйкой дома и грубо выгоняет восьмидесятилетнюю Анфису, которая нянчила сестёр и Андрея, а Ольга, видевшая все это, не заступает за Анфису, а лишь жалуется на грубость Натальи. Ольга уходит из дома Прозоровых на казённую квартиру при гимназии, забрав с собой Анфису. Андрей проиграл в карты свой дом, дом перешёл в руки Наташи, Андрей превратился в ничтожество. О печальной судьбе брата тоскует Ирина: «Как измельчал наш Андрей, как он выдохся и постарел около этой женщины! Когда-то он готовился в профессора, а вчера хвалился, что попал, наконец, в члены земской управы. Он член управы, а Протопопов председатель... Весь город говорит, смеется, и только он ничего не знает и не видит... И вот все побежали на пожар, а он сидит у себя в комнате и никакого внимания. Только на скрипке играет. (*Нервно.*) О, ужасно, ужасно, ужасно! (*Плачет.*) Я не могу, не могу переносить больше!.. Не могу, не могу!..»

«Жизнь задела всех трех сестер своим черным крылом, – писал И. Анненский. – В начале драмы это была еще свободная группа. Каждая из трех сестер и хотела, и могла, как ей казалось, жить по-своему...

В конце драмы сестры жмутся друг к другу, как овцы, застигнутые непогодой... Как ветлы в поле, когда ветер шумно собьет и скосматит их бледную листву в один общий трепет.

У каждой стало в душе не то что меньше силы, а как-то меньше доверия к себе, меньше возможности жить одной. И это их больше сблизило. Стало точно не три единицы, а лишь три трети трех» (Книга отражений. СПб., 1906. С. 158).

Чехов был крайне удивлён, когда режиссёры и актёры МХТ утверждали в своих выступлениях, что «Три сестры» – это драма. К.С. Станиславский рассказал о том, как Чехов чувствовал себя неуютно, когда участники обсуждения пьесы говорили, что пьеса – это трагедия, другие говорили, что это драма. Чехов утверждал, что «Три сестры» – это водевиль, весёлая комедия. Чехов уверял своими пьесами, что комическое и трагическое существуют неразделимо, являясь разными сторонами самой жизни. И на это обратили внимание не только режиссёры и актёры МХТ, но и критики и учёные в последующем. Так, М. Григорьев в книге «Сценическая композиция чеховских пьес» писал: «В пьесах Чехова много трагического, но оно не излагается в форме трагедии: у него трагическое смешивается, сочетается со случайным, нелепым и потому смешным. В этом отношении Чехова можно сблизить с Шекспиром, у которого

также элементы трагические сочетаются с комическими, хотя бы, например, в «Гамлете»... Но следует отметить и различие: у Шекспира сочетаются комические сцены с трагическими, у Чехова – комическое и трагическое внутри одной сцены» (Сценическая композиция чеховских пьес. М., 1924. С. 100–101). Некоторые биографы и исследователи посвящают много страниц анализу трагического юмора Чехова. Так что первые постановщики пьесы Станиславский и Немирович-Данченко не случайно спорили с Чеховым, понимая новаторскую эстетику его пьес.

Чехов, замышляя новую пьесу, «Вишневый сад», готовился её написать как водевиль, как пьесу «непреренно смешную». «Последний акт будет веселый, да и вся пьеса веселая, легкомысленная», – писал Чехов 21 сентября 1903 года О.Л. Книппер, обещая Станиславскому и ей комические роли. И очень беспокоился, что Раневскую должна играть комическая старуха, а в МХТ нет комической старухи. И почему на афишах и в газетных объявлениях, писал Чехов Ольге Книппер, повсюду называют «Вишневый сад» драмой? Это драма для дворянства, утратившего свою собственность, свой «Вишневый сад», драма для Раневской и Гаева, не способных к хозяйственной деятельности, но ведь пьеса не только о них, сюжет её вбирает множество персонажей. Студент Пётр Трофимов говорит Ане о тёмном прошлом её дедов и прадедов: «Подумайте, Аня, ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть чужими душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала... покончить с ним...» Пётр Трофимов – «вечный студент». И Чехов очень беспокоился, что он не доработал Трофимова: «Я все трусил, боялся. Меня, главным образом, пугала малоподвижность второго акта и недоделанность некоторая студента Трофимова. Ведь Трофимов то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета, а как тыобразишь сии штуки?» – писал Чехов 19 октября 1903 года Ольге Книппер (Письма. Т. 11. С. 278–279). Интересен и образ Лопухина, разбогатевшего крестьянина, который покупает вишневый сад. Чехов в письме Станиславскому высказывает то, что он задумал в образе Лопухина показать одарённого, но противоречивого человека: «Когда я писал Лопухина, то думалось мне, что это Ваша роль... Лопухин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов, и мне вот казалось, что эта роль, центральная в пьесе, вышла бы у вас блестяще... При выборе актёра для этой роли, не надо упускать из виду, что Лопухина любила Варя, серьезная, религиозная девица; кулачка бы она не любила» (Письма. Т. 6. С. 326). Не случайно автор подчеркивает, что у Лопухина – «тонкие, нежные пальцы, как у артиста», «тонкая, нежная душа».

Не раз Чехов переписывал текст пьесы, даже когда начались репетиции в театре, Чехов вносил свои поправки. Послав текст пьесы режиссёрам Станиславскому и Немировичу-Данченко, Чехов в тот же день получил телеграмму от Немировича-Данченко, который отозвался о «Вишневом саде» – «больше пьеса, чем все предыдущие», а Станиславский восторженно писал: «Потрясен, не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего прекрасного, Вами написанного. Сердечно поздравляю гениального автора. Чувствую, ценю каждое слово» (Ежегодник Московского Художественного театра. М., 1944. Т. 1. С. 223–224).

С шумным успехом премьера пьесы «Вишневый сад» прошла в постановке МХТ в начале 1904 года, вскоре Чехов уехал за границу, но он был неизлечим. Летом 1904 года тело Чехова было перевезено в Москву и похоронено на Новодевичьем кладбище.

Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974–1983: С (Сочинения), П (Письма).

А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960.

Громов М. Чехов. М., 1993 (ЖЗЛ).

Владимир Галактионович Короленко

(15 (27) июля 1853 – 25 декабря 1921)

Родился в Житомире в семье уездного судьи Галактиона Афанасьевича Короленко (1810–1868), украинского дворянина. Мать, Эвелина Иосифовна Скуревич (1833–1903), – дочь польского шляхтича. В семье говорили по-польски. Две веры, православная и католическая, три языка. Учился в классической гимназии, но в связи с переездом в Ровно перешёл в реальную гимназию, которая не давала права поступать в университет. Осенью 1871 года В. Короленко, мечтая о карьере адвоката, поступил в Технологический институт в Петербурге, но проучился здесь недолго, в 1873 году, переехав в Москву, поступил на лесное отделение в Петровскую академию, учился успешно. Но с 1876 года обострилось студенческое движение, принимая бурные протестующие формы. За подачу коллективного протеста администрации академии В. Короленко был выслан в Вологду, потом в Кронштадт, потом был полностью освобождён от преследований. Мечта о писательстве рано поселилась в душе молодого Короленко, 7 июня 1877 года в газете «Новости» появилась первая его публикация «Драка у Апраксина двора». В это время он уже увлёкся народничеством, читал статьи П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачёва, В.В. Берви-Феровского, он был искателем, протестующим против бюрократического режима монархической власти. В первом же опубликованном рассказе «Эпизоды из жизни «искателя» (Слово. 1879. № 7) были высказаны идеи, против которых тут же выступил В.П. Буренин в газете «Новое время» (1879. 20 июля). И началась травля не только Владимира Короленко, но и всей его семьи, попавшей в число государственных преступников. Шесть лет после этого В. Короленко подвергся тюремному заключению и ссылкам, сначала в город Глазов, в далекие Берёзовские Починки, потом в Якутск и, наконец, в Пермь. На всех этапах преследований В. Короленко не бросал работать, написал «Ненасоящий город», «Чудная», «В дурном обществе», «Временные обитатели «подследственного отделения» (затем этот рассказ получил новое название – «Яшка»), «Убивец», «Сон Макара», в которых действующие лица показаны и грешными страдальцами, и неукротимыми тружениками. Однако народническое любование трудовым народом не увлекло молодого писателя. В сентябре 1884 года В. Короленко подал заявление об окончании ссылки и в декабре того же года приехал в Нижний Новгород, где провёл самые счастливые годы, до января 1896 года. В январе 1886 года женился на Е.С. Ивановской, активной участнице революционного движения. Вокруг В. Короленко возникла нижегородская группа писателей и журналистов, жёстко осуждавших царский бюрократизм и всевластие. Не прекращался жандармский контроль за публикациями. В начале февраля 1885 года писателя арестовали по подозрению в преступной переписке, но вскоре отпустили.

С этого времени начинается бурная творческая и литературная деятельность В.Г. Короленко, встречи с писателями, общественными деятелями, активная журналистская работа. В Москве в 1886 году вышла первая книга В. Короленко «Очерки и рассказы», одна за другой родились две дочери. С апреля 1885 года он постоянно сотрудничал в газете «Волжский вестник», с Нижегородской архивной комиссией, с газетой «Русские ведомости». В Нижнем Новгороде в группу В. Короленко вошли писатели А. Анненский, С. Елпатьевский, А. Богданович, сотрудники земельных учреждений, почти вся демократическая интеллигенция. Начальник Нижегородского жандармского управления в 1894 году писал в вышестоящее учреждение: «Я имел честь доносить не раз, что В. Короленко составляет центр, около которого группируются

почти все без исключения подозрительные личности, проживающие в г. Нижнем». И делал вывод, что В. Короленко можно разрешить писать художественные произведения, но ни в коем случае нельзя ему заниматься публицистикой (Былое. 1918. № 13. С. 29).

Тесно связал В. Короленко свою жизнь с журналом «Русское богатство», в 1894 году стал пайщиком, в 1896 году переехал в Петербург, чтобы непосредственно участвовать в работе журнала. В журнале «Русское богатство» (1893. № 2–3, 5–7, отдельное издание СПб., 1893, которое много раз переиздавалось) была опубликована серия очерков о русской деревне и переживаниях крестьян в 1893 году – «В голодный год». В 1892 году был написан рассказ «Река играет», в котором изображён образ замечательного перевозчика Тюлина, который находит в себе силы и мужество выстоять в борьбе с взбунтовавшейся рекой Ветлугой (Помощь голодающим: М., 1892). Короленко знакомится с Николаем Михайловским, Глебом Успенским, Львом Толстым, Антоном Чеховым. Редакции журналов «Русская мысль» и «Северный вестник» приглашают В. Короленко к сотрудничеству. После посещения Европы и Америки, Всемирной выставки в Чикаго написал ряд очерковых книг – «Драка в Доме», «В борьбе с дьяволом», «Фабрика смерти», рассказ «Без языка». Сравнивая Россию с Западом, приходит к печальному выводу, что жизнь русского человека несправедлива, лишена свободы, социальной и юридической культуры. Как адвокат, защитник простого человека от наветов реакционных чиновников В. Короленко выступил на Мултанском процессе, где удмуртских крестьян обвинили в человеческом жертвоприношении, крестьяне были оправданы.

В. Короленко был потрясён неожиданной смертью двух дочерей. С этого времени, 1896 года, В. Короленко почувствовал резкую грань в своей жизни, начал стареть, по его признанию, задумался о тихой пристани для литературной работы, в 1900 году переехал в Полтаву, но и здесь тихая жизнь была только мечтой, беспокойный характер толкал его к беспокойным делам: Академия наук отменила выборы М. Горького в почётные академики (на самом деле по указу царской администрации), недавно избранный в почётные академики В. Короленко обратился ко всем академикам с призывом: в знак протеста против самодержавного своеволия отказаться от этого членства, А.П. Чехов и математик А.А. Марков поддержали призыв В. Короленко. Почти сразу за этим событием, в январе 1902 года, последовал процесс павловских сектантов в городе Сумы, в июне 1903 года – в Кишинёве еврейский погром, осенью 1904 года на собрании писателей в Петербурге потребовали свободы и конституции, затем забастовка и мирная демонстрация 9 января 1905 года, были написаны очерки «Сорочинская трагедия» (Русское богатство. 1907. № 4), «В успокоенной деревне» (Русские ведомости. 1911. 4 февраля), и, наконец, возникло дело Бейлиса, ритуальный процесс, в котором евреев обвиняли в убийстве русского мальчика. Острейшие события русской действительности постоянно вынуждали В. Короленко взывать к справедливости при решении трагических конфликтов, писатель призывал осудить бесчеловечные формы расправы над крестьянами со стороны карательной экспедиции статского советника Филонова, со стороны полицейского отряда против крестьян в деревне Кромщино.

В.Г. Короленко работал над многотомным романом «История моего современника», первый том из задуманного был опубликован в журнале «Русское богатство» в 1906–1908 годах, отдельное издание было опубликовано в 1909 году, тогда же был начат и второй том. Но что-то острое постоянно отвлекало от романа. «Совестным судьей» назвал М. Горький всё то, что делал В. Короленко, «зеркалом русской совести» назвал его А.В. Амфитеатров, высоко отзывался о В. Короленко писатель П.Ф. Якубович.

Первая мировая война и Февральская революция вызвали серьёзные раздумья о грядущих переменах, а после революции и о распаде Российской империи, о свободе печати и других преимуществах свободного человека, ради которых он боролся всю жизнь. Но с наступлением Октябрьской революции В. Короленко вновь заговорил о цензуре, решение о которой было принято в первые дни после установления советской власти. В. Короленко писал статьи,

печатал свои выступления, но самым важным всё же оставался дневник, в который заносил самые сокровенные мысли. В. Короленко признавался, что он – средний писатель («Мы, средние люди», – писал он), но его дневник по своей глубине, искренности и простоте возвышается до высокой литературы, это выдающийся документ эпохи. Получив первый том изданного «Дневника» после смерти В.Г. Короленко, М. Горький в письме его вдове писал: «Искренне Уважаемая Евдокия Семеновна – примите мою сердечную благодарность за присланный Вами подарок – первый том «Дневника» В.Г. Прочитал всю книгу сразу, в один день, и так она меня взволновала, так много напомнила, что – хоть плакать! Какая огромная жизнь прожита нами, Евдокия Семеновна, и как хорош в этой трагической жизни образ Владимира Галактионовича» (*Короленко В.Г. Дневник. Полтава, 1925*).

С восторгом, как светлый праздник, В. Короленко приветствовал падение императорского трона, свободу для человека и свободу для нового государственного строительства. 18 марта 1917 года В. Короленко писал своей сестре: «В несколько дней политическая физиономия России меняется, как по волшебству, почти без кровопролития, Республика, о которой не приходилось даже заговаривать в 1906 году, – теперь чуть не общий лозунг. Судьба подарила нам такого царя, который делал не просто поразительные глупости, но глупости точно по плану, продиктованному каким-то ироническим гением истории... Над русской землей загорелась наконец бурная и облачная, но, будем надеяться, немеркнущая заря свободы...» Но постепенно оптимистические надежды на Февральскую революцию рушились, на недостижимой вершине революции, писал он, «холодно, ветрено». В. Короленко в это время завершал свой большой очерк «Война, отечество и человечество», в котором призывал продолжать войну с интервентами, всеми силами защищать своё отечество и выполнять союзнические обязательства, свято хранить патриотический долг. После Октябрьской революции положение писателя резко изменилось, ввели цензуру, а главное – угас патриотический подъём. В. Короленко резко отрицает позицию Чернова, который в своих выступлениях обещает тем, кто будет выступать против Учредительного собрания, террористические акты, как в старое время В «Дневнике» за 1917–1918 годы возникают картины одна ужаснее другой, рассказывается об ужасающей пьянке и произволе, отмечается, что очень много красногвардейцев-евреев поступают по своей прихоти, среди правящих в Полтаве – немало евреев: «Г-жа Робсман, недавно заявившая на собрании соц. – большевикам: мы вас вешать не будем, потому что дороги веревки; её дядя, зачем-то пользующийся псевдонимом Мазлаха, – комиссар банка. Заседает в госуд. банке и «разрешает» или не разрешает по своему усмотрению выдачи. Большевики прислали контрольную комиссию. Он её к контролю не допустил. По этому поводу ходят слухи о крупном хищении...» (*Короленко В.Г. Дневник 1917–1921. М., 2001. С. 97*). В Полтаве часто менялись власти, и ни одна из них не навела порядок, повсюду грабили, убивали по суду и без суда, Пилсудский, большевики, белые, атаманы типа Муравьева, и повсюду чрезвычайные обстоятельства – убивают и убивают. В письме от 17 (30) марта 1920 года к А.Г. Горнфельду В. Короленко писал среди прочего: «А мы тут переживаем смену за сменой. В прошлом году нас подчинили деникинцы. Ну, и ввели «порядок». Войдя в Полтаву, три дня грабили евреев, а оставляя наши страны, устроили фастовское побоище, ещё небывалое даже в наших юдофобских странах. Практиковались и бессудные расстрелы и другие безобразия. А мне пришлось иметь дело с начальником «контр-разведки». Оказался прежний жандарм со всеми жандармскими замашками» (*Короленко В.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988. С. 381–382*). И дени кинцы-утописты «реакции самой страшной», а «эта утопия стоит против утопии коммунистической, и жизнь всей страны парализована». Борются две утопии, а выхода нет. А в апреле 1920 года при шли большевики, прекратились грабежи, но возникли «опять чрезвычайки», «коммунизм возбуждает в населении общую вражду», вспыхнуло восстание, «восстание наивное, глупое, – лозунги неуловимые: ненависть к коммунизму и евреям», «кацапы» и «жиды» расстреливают «наших». Вообще – воздух насыщен кровавым туманом и предчув-

ствиями» – это из письма В. Короленко к А.Г. Горнфельду 23 апреля (6 мая) 1920 года. В «Дневнике» В.Г. Короленко внимательно, день за днем, описывает кровавые события как со стороны белогвардейцев, так и со стороны большевиков-чекистов, иногда перечисляя имена «преступников». Мелькают еврейские имена среди членов «чрезвычайки», которые вызывают ненависть и призывы к отмщению. Взятки, доносы, грабежи, аресты, расстрелы – свидетельствует В. Короленко в дневнике и в письмах друзьям и коллегам. И чуть ли не каждый раз В.Г. Короленко и его супруга Евдокия Семеновна ходят по просьбе родственников к начальству и пробуют выручить попавших в беду.

Вот ещё несколько цитат из «Дневника» за 1919 год: 2 (15) июля Короленко сообщает, что привезли 25 человек на принудительные работы, но они истерзаны так, что один врач записал, что надо наказывать того, кто допустил подобные истязания. Но этого палача видели свободно разъезжающим по городу. Заключение летописца:

«Живем среди безнаказанного варварства и ужаса!» И тут же новость за 7 (20) июля: «Расстрелы учащаются. Опять расстреливают без суда, по постановлению негласных разбирательств в коллегиях или даже проще» (Там же. С. 218). Расстреливали монахов, служителей монастырей, всех, кто «заражен церковными предрассудками». Короленко резко осуждает статьи Раковского «Кулацкие восстания» и Брольницкого «Будем беспощадны», в которых борцы за справедливость прямо призываются – донесите на всех врагов советской власти.

Невозможно пересказать всех безобразий, которые перечисляются в «Дневнике», чтобы понять, насколько несправедлива была советская власть к населению прежде всего Полтавы, но ведь безобразие и беззаконие творились по всей Украине, по всей России.

В.Г. Короленко очень точно рассказал о возникновении «красной буржуазии», которая забирает в свою собственность все драгоценные вещи. «Рассказывал ещё Л., – записал Короленко 12 мая 1920 года. – Происходило вскрытие сейфов. Рабочий с мозолистыми руками, слесарь, производивший вскрытие, вдруг говорит:

– Вот уже два года я делаю эту работу. Берут имущество буржуазии, – впрочем, я не люблю этого слова... Скажем, имущих классов. Но я ещё не видел, чтобы это имущество попало в общую пользу... Вот эти золотые часы... Они попадут к красной буржуазии... А вот у меня как были железные часы, так и останутся, да и не надо мне других... А что теперь уже образуется красная буржуазия, то это верно...

На замечание председателя, что лучше заняться делом и что за такие речи можно ответить, рабочий сказал спокойно:

– Я ничего не боюсь.

Вот это «ничего не боюсь» тоже носится в воздухе. Выводы формулируются в краткие понятные формулы и начинают проявляться откровенными разговорами. И против этого бессильны всякие репрессии. А «красная буржуазия» – неосторожно сказанное, но меткое слово. Можно видеть многих коммунистов, не могущих отказать себе в удовольствии пощеголять с дорогими перстнями, портсигарами, затейливыми мундштуками... И этот раз прибежал человек с сообщением, что ему известно, что в сейфе такого-то есть особенный мундштучок... Так нельзя ли как-нибудь?.. А в прошлом году вещи из сейфов сваливали в кучи без описей...» (Там же. С. 286). Как раз об одном таком случае поведал А.И. Куприн в рассказе «Александриты»: «В конце 1918 года мне пришлось быть по одному делу в Москве, на Тверской, в старинном генерал-губернаторском доме, занятом тогда... Московским Советом... Мне пришлось там беседовать довольно долго с одним видным лицом большевистского мира... Этот человек был – Л.Б. Каменев. (Его на минуту отозвали.) Но за время его отлучки, оглядевшись вокруг, я был не менее изумлен и заинтересован другим зрелищем... На столе были грудами навалены серебряные и золотые вещи – миски, призовые кубки, венки, портсигары и т. п., многие – в скомканном и в сплюсненном виде. Тут же помещались железные гарницы, доверху наполненные золотой и старинной, времен императриц, монетой... В Совдепии нет ни

одного взрослого человека «некоммуниста», не подвергнувшегося тюрьме и предварительному обыску с попутной реквизицией драгоценных вещей. На то, что перепадает в руки комиссаров и их жен, правительство смотрит сквозь пальцы. Но оно не напрасно состоит из людей тонких и ловких. Предоставляя мелким агентам лакомиться мелким пескарем и плотвичкой, красную рыбу, по безмолвному уговору, оно оставляет за собою. Таким образом оно и наложило тяжелую лапу не только на сейфы, но и на все заклады ссудных касс и ломбардов...» Исследователи на основе архивных данных установили, что была создана организация «Горпродукт» под руководством Гроссберга, Голендера, Шумлинского (подчинялась Л.Б. Каменеву), которая занималась «муниципализацией» торговли в столице. За два года, 1918–1919, комиссия, в сущности, ограбила всю столицу. Ревизия «Горпродукта» по настоянию рабочих Москвы установила, что все богатства из частных и государственных закровов разворовывались, списки награбленного не составлялись, а просто развозилось по домам, народное достояние рассматривалось как собственное предприятие. Точно так же было организовано и снабжение продуктами: население голодало, а работники «Горпродукта», «красная буржуазия», ни в чём не нуждались. Л.Б. Каменев был на стороне «Горпродукта». Ревизионную комиссию председатель МЧК Бреслав арестовал и объявил их белогвардейцами. В это дело были втянуты высшие государственные чины, в том числе Ленин и Сталин. В результате расследования Гроссберг и его команда были арестованы и преданы суду. Но разворованные богатства в закрома Отечества так и не вернулись.

А.И. Солженицын в книге «Двести лет вместе», ссылаясь на документы и публикации, писал: «Ещё ж и это не надо забывать: новые властители не упускали тут же насыщать свою наживу, а попросту – грабить беззащитных». «Добытые деньги переводятся, как правило, в драгоценные камни... Склянский (врач Эфраим Склянский – властный безжалостный заместитель Троцкого. – В. П.) пользуется в Москве репутацией «первого покупателя бриллиантов»: попался в Литве на досмотре вывозимого багажа зиновьевской жены Златы Бернштейн-Лилиной – и «обнаружены драгоценности на несколько десятков миллионов рублей» (*Маслов С.С.* Россия после четырех лет революции. Париж: Русская печать, 1922. Кн. 2. С. 190), «отдел же ВЧК по борьбе со спекуляцией, менее опасный и наиболее доходный, был в руках евреев» (*Трубецкой С.Е.* Минувшее. Париж, 1989. С. 195–196 // Всероссийская Мемуарная Библиотека (ВМБ) (Наше недавнее, 10). *Солженицын А.И.* Двести лет вместе. Ч. 2. М., 2002. С. 85).

19 июня 1920 года после встречи с Луначарским и беглого с ним разговора, припоминая обо всём, что пришлось ему выдержать за эти годы смуты и беззакония, В.Г. Короленко написал ему письмо, в котором захотелось как писателю с писателем поговорить о свободе слова и других «болящих вопросах современности». И конечно, В. Короленко начал с того, что во время посещения Луначарским Полтавы расстреляли пятерых, «в административном порядке», за которых так хлопотал В.Г. Короленко, а в своей речи Луначарский поддержал этот расстрел. И всё это поразило В. Короленко, ведь до революции они встречались, разговаривали о социализме, о нравственности, о гуманизме. А сейчас творятся «казни без суда, казни в административном порядке» – это и тогда, при царизме, «бывало величайшей редкостью». Следственная власть поступает как власть государственная – это пример, «может быть, единственный в истории культурных народов». Но представитель Всеукраинской ВЧК, оправдывая такие приговоры, сказал: «Но ведь это для блага народа». Административные расстрелы не принадлежат благу народа, нарушается элементарная законность и справедливость. Обычно чекисты ссылаются, что точно так же поступают и белые офицеры. Короленко резко осуждает «обоюдное озверение». «Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти. *Теперь население живет под давлением кошмара*» (курсив мой. – В. П.), – резко пишет В. Короленко. И осуждает Луначарского за поддержку «административных расстрелов».

В.Г. Короленко написал А.В. Луначарскому шесть писем, последнее, шестое, – 22 сентября 1920 года. Ни на одно письмо А.В. Луначарский не ответил и по просьбе автора не опубликовал их. Опубликовали эти письма в журнале «Современные записки» (Париж. 1922. № 9) и в издательстве «Задруга» (Париж, 1922). В СССР – «Новый мир» (1988. № 10).

А спор в письмах В. Короленко приобретал принципиальный политический и теоретический характер. В. Короленко – беспартийный социалист, не большевик, не меньшевик, не эсер, он давно занимался общественными, социальными формами развития страны, сам был инакомыслящий, спорил с инакомыслящими, читал разнообразную литературу по всем этим вопросам. Во втором письме, 11 июля 1920 года, В. Короленко вспоминает своё первое знакомство с социальной практикой рабочего движения, когда он был в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго и присутствовал на митинге безработных. На площади было несколько трибун, выступали с разными предложениями, а сосед, русский еврей, сказал, что нужно было предварительно согласовать общие требования в одно и выдвинуть его на митинге. Против этого предложения решительно выступил опытный социалист, который в домашнем споре заявил, что «ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки ещё к этому не готовы... Это легко устраивается только на бумаге, в «Утопиях». Но мы, марксисты, отлично понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения которых потребуются трудная выработка и душ, и переходных учреждений... Америка дает для этого отличную свободную почву, но пока и только». В Америке не созрели «объективные и субъективные условия социального переворота».

И после этого письма В. Короленко занимался всё тем же: «Бессудные расстрелы происходят у нас десятками, и – опять мои запоздалые или безуспешные ходатайства». Он пишет ходатайство председателю губисполкома о том, что 9 человек расстреляно в «административном порядке», пишет председателю Всеукраинского Центрального исполнительного комитета товарищу Петровскому – всё о том же. Иронически В. Короленко пишет о том, что «над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку»: «В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешёл... к коммунизму, по крайней мере, к коммунистическому правительству... Известный вам английский историк Карлейль говорил, что правительства чаще всего погибают от лжи... Вашей диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, долго тяготевшей над Россией... Дворянская диктатура отвечала: от мужицкой лени и пьянства... Теперь я ставлю вопрос: все ли правда и в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы успели внушить народу? По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит такой же широкий, «классовый» характер. Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия («буржуй») представляет только класс туенядцев, грабителей, стригущих купоны, и – ничего больше... Почему же теперь иностранное слово «буржуа» – целое, огромное и сложное понятие, с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор просто его не знавшего, в упрощенное представление о «буржуе», исключительно туенядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов... Вы, большевики, отлили их окончательную форму. Своим лозунгом «грабь награбленное» вы сделали то, что деревенская «грабижка», погубившая огромные количества сельскохозяйственного имущества без всякой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в города, где быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный аппарат» (Там же. С. 437–443).

В. Короленко в письмах А.В. Луначарскому предъявил обвинительный акт тому, что совершили большевики за три года диктатуры пролетариата: довели страну, разрушив капиталистический строй, до «ужасного положения»; довели страну до повсеместного голода; земледелец, видя, что у него берут то, что он произвёл, стал прятать хлеб в ямы, большевики послали

продотряды и забирали и этот хлеб, возбудив ненависть в провинциях; «свободной печати у вас нет, свободы голосования – также...».

«В чем вы разошлись с вождями европейского социализма и начинаете все больше и больше расходиться с собственной рабочей средой? – продолжал свои обвинения коммунистическому режиму Короленко в шестом письме А.В. Луначарскому. – Ответ на этот вопрос я дал выше: он в вашем максимализме.

Логически это положение самое легкое: требуй всего сразу и всех, кто останавливается сразу перед сложностью и порой неисполнимостью задачи, называй непоследовательными, глупыми, а порой и изменниками делу социализма, соглашателями, колчаковцами, деникинцами, вообще изменниками... Вы убили буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от трупа. Все разрушается: дома, отнятые у прежних владельцев и никем не реставрируемые, разваливаются, заборы разбираются на топливо, одним словом, идет общий развал... И вот истинное благотворное чудо состояло бы в том, чтобы вы наконец сознали свое одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к вашему коммунизму, – сознались бы и отказались от губительного пути насилия, но это надо делать честно и полно. Может быть, у вас ещё достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно и что возможная мера социализма может войти только в *свободную страну*» (Там же. С. 458–470).

Повторяю, А.В. Луначарский не ответил на письма В.Г. Короленко, хотя готовился ответить, об этих письмах знал В.И. Ленин, не одобрял их, но так Луначарскому ничего и не порекомендовал. Весной 1921 года на X съезде РКП(б) политика военного коммунизма в острой политической борьбе была отменена и утверждена новая экономическая политика (нэп). А через несколько месяцев после этого, 25 декабря 1921 года, Владимир Галактионович Короленко скончался.

Летом 1921 года В. Короленко, больной, с сильным нервным расстройством и болезнью сердца, согласился стать председателем Помгола (Комитет борьбы с голодом в составе: Л. Каменев (председатель), Н. Семашко, А. Рыков, Н. Некрасов, Кишкин, Щепкин, Кускова, Прокопович, Кутлер, Горький, Покровский, Левицкий) и написать воззвание к Европе. Но Помгол просуществовал недолго: в квартире Кусковой собрались члены Помгола для решения очередных задач, в некоторых выступлениях были допущены выражения, резко критикующие постановления правительства, и антибольшевистская критика. Тут же донесли в ВЧК, явилось несколько чекистов в кожаных куртках и арестовало высокое сообщество: подобный состав Помгола не может бороться с голодом.

А.М. Горький через несколько недель после такого решения уехал за границу, а В.Г. Короленко так и не написал воззвания к Европе.

В.Г. Короленко, как выразился А.М. Горький, был идеальным образом русского писателя.

Короленко В. Дневник 1917–1921. Письма. М., 2001.

Часть вторая. Русская литература конца XIX и 10-Х годов XX века

1

Чуть ли не все писатели, публицисты и очеркисты, старые и молодые, почувствовали, что реалистические формы в чём-то устарели, то ли содержание стало однобоким, то ли формой пресытились. И все, в том числе и читатели, поняли, что пришла пора поиска новых форм и содержания.

О поисках новых форм и содержания задумывались такие художники, как Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир Короленко и другие.

По-прежнему привлекал внимание журнал «Вестник Европы» во главе с профессором Петербургского университета М.М. Стасюлевичем (1826–1911), верным оппозиционным традициям 60-х годов, когда они вместе с К.Д. Кавелиным, А.Н. Пыпиным, В.Д. Спасовичем и Б.И. Утиным покинули свои профессорские должности и ушли на творческую работу, публикуя свои статьи, очерки, воспоминания. Заместителем главного редактора был известный учёный-литературовед А.Н. Пыпин (1833–1904), а секретарём редакции экономист Л.З. Слонимский (1850–1918), привлёкший внимание тем, что чуть ли не впервые в России написал несколько статей о марксизме, и как автор критической статьи о «Московском сборнике» К.П. Победоносцева. Многие ещё помнили, что на страницах журнала были напечатаны произведения А.Н. Островского, А.К. Толстого, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, воспоминания И.И. Панаева, П.В. Анненкова, А.Н. Веселовского, В.В. Стасова, К.К. Арсеньева, до недавнего времени печатались в журнале А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, И.И. Мечников, И.М. Сеченов, А.Н. Данилевский, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьёв. После закрытия журнала «Отечественные записки» в 1884 году пришёл в журнал М.Е. Салтыков-Щедрин, приносили свои сочинения П.Д. Боборыкин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.М. Жемчужников, А.И. Эртель, И.Н. Потапенко. Но в 90-х годах стало заметно оскудение русской литературы не только в этом журнале, и в других журналах с русской прозой дела обстояли не лучше.

В 1897 году А.П. Чехов писал о журнале «Вестник Европы» как о «лучшем журнале из всех толстых». К 50-летию творческой и общественной деятельности М.М. Стасюлевича, отмечая его заслуги, В.Г. Короленко и Н.Ф. Анненский писали в журнале «Русское богатство»: «Положив в основу своей программы начала здоровой гражданской жизни, заключающиеся в господстве законности и прочных гарантиях прав личности, в независимом суде, возможно широком развитии местного самоуправления, господстве веротерпимости, свободе слова и печати, разумно и широко поставленном образовании народа, журнал г. Стасюлевича проводит эту программу среди меняющихся настроений русского общества» (Русское богатство. 1897. № 12. С. 221).

Действительно, настроения в русском обществе менялись, даже на страницах одного журнала. М. Стасюлевич, по мнению его близких, без своего ведома не пропускал в журнале ни одной строчки. Г.В. Плеханов, полемизируя с журналом, положительно характеризуя главного редактора «как человека честного, бескорыстного, убежденного и деятельного», упрекает его одновременно как человека, который носит «на себе печать того отвлечённого русского либерализма, который по самой природе своей осуждён на полнейшее бессилие» (Соч. М. – Л., 1927. Т. 24. С. 66). А ведь русский либерал в 90-х годах XIX века – совсем не тот, кого мы сейчас называем либералом, это патриот, любит своё отечество, думает о народе, готов всячески

помогать ему, не преклоняется перед Западом, чтит его достижения, готов учиться у него... Но остаётся независимым и гордым.

Русская проза в журнале «Вестник Европы» состояла преимущественно из романов П.Д. Боборыкина (1836–1921), начиная с 1873 года он поставлял в журнал свой роман чуть ли не ежегодно. С.А. Венгеров назвал число этих романов – «не менее 70–80 томов», увидев в этом их большое культурное значение.

Критики того времени были беспощадны к романам П.Д. Боборыкина, называли их заурадной беллетристикой, «массовой», посредственной литературой, мутным потоком, который хлынул на страницы журнала. Но П.Д. Боборыкин всё-таки выделялся на этом фоне острой проблематикой поставленных проблем, всё, чем жила Россия, было и в этих романах.

«Василий Тёркин» (Вестник Европы. 1892. № 1–6), «Перевал» (1894), «Ходок» (1895), «Княгиня» (1896), «По-другому» (1897), «Тяга» (1898), «Куда идти» (1899), «Однокурсники» (1901), «Исповедники» (1902), «Закон жизни» (1903), «Братья» (1904) – все эти произведения были в центре общественного мнения, их критиковали, подвергали обсуждению в дискуссиях, об этом оставили свои суждения Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький. На невысокие художественные достоинства сочинений мало обращали внимание, они были очевидны, привлекали острые общественные проблемы – от критики народничества и марксизма до изображения в образе Василия Тёркина «политически мыслящего купца»: «Дикий замоскворецкий житель, купец Островского, переродился почти в европейского буржуа» (*Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 25. С. 308).

«Боборыкин замечательно чуток. Это заслуга», – писал Л.Н. Толстой. А А.П. Чехов писал О.Л. Книппер о повести П. Боборыкина «Однокурсники»: «Повесть прескверная, скучная, но интересная – в ней изображается Художеств. Театр и восхваляется М.П. Лилина. Ты прочти. Идёт речь о «Чайке» и «Дяде Ване» (Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 19. М., 1950. С. 14). «Прескверная», но «интересная» – вот итог публикации романов П.Д. Боборыкина.

Страницы журнала «Вестник Европы» заполняли сочинения И.Н. Потапенко, В.И. Дмитриевой, А.А. Виницкой, К.Ф. Головина, Н.П. Стахевич и др. Лишь имя Игнатия Николаевича Потапенко (1856–1929) осталось в памяти читателей, критики, учёных. Роман «На действительной службе», опубликованный в «Вестнике Европы», принёс автору некоторую известность, но следующая повесть «Семейная история», опубликованная в «Северном вестнике», подверглась острой критике. Л.Н. Толстой в письме Н.С. Лескову писал 20 октября 1893 года: «Вчера я прочёл повесть Потапенко в «Северном вестнике». Какая мерзость! Решительно не знают люди, что хорошо и что дурно. Хуже – думают, что знают, и что хорошо именно то, что дурно. Положительно можно сказать, как про наши школы, что они не только не полезны, но прямо вредны, если ими исполняется всё тот же мрак. Вся наша беллетристика всех этих Потапенко положительно вредна. Когда они напишут что-нибудь не безнравственное, то это нечаянно. А критики-то распинаются и разбирают, кто из них лучше. Все лучше. Эта повесть Потапенко была для меня *coup de grace* (последним ударом (*фр.*) – В. П.). Я давно уже подумывал, что вся эта беллетристика, со включением, и очень, всех Зола, Бурже и т. п., есть бесполезная пакость, а теперь это стало для меня полной несомненностью» (Собр. соч.: В 22 т. Письма. М., 1984. Т. 19–20. С. 268). Вполне возможно, что Л.Н. Толстой преувеличивал «мерзость» сочинений И.Н. Потапенко, но отношение к публикуемой литературе в «Вестнике Европы» точно отражает бескрылую и мелкотемную натуралистическую беллетристику, которая заполонила всю журнальную и издательскую литературу.

Подобная унылая беллетристика была напечатана и в других журналах.

Интерес к журналу привлекали стихотворения старой школы – А.М. Жемчужникова, Я.П. Полонского, В.Н. Ладыженского и др., но особенно был интересен Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) своими стихами и острой публицистикой, в том числе и религиозной. В «Вестнике Европы» были опубликованы его стихотворения «Неопалимая купина» (1891),

«Зачем слова» (1892), «Милый друг, не верю я нисколько» (1893), «На озере Сайма», «Белые колокольчики» (1899), поэма «Три свидания» (1898), «Дракон» (Зигфриду) (1900) и др. В. Соловьёв, публикуя свои стихи, сомневается в их надобности, когда есть такие поэты, как Пушкин и Тютчев. Но находились в это время поэты и критики, которые увидели в стихах Соловьёва новизну содержания и новую форму. Валерий Брюсов (1873–1924), о котором речь ещё впереди, писал П.П. Перцову: «Очень Вам благодарен за указание на Вл. Соловьёва. Читаю его стихи и нахожу их прекрасными – но прекрасными внутренней стороной... Лично мне дороже всего те его стихотворения, где он освобождается от влияния Фета, пишет проще и глубже. Таковы – «Волна в разлуке с морем», «Вся в лазури сегодня явилась», «О, что значат все слова и речи». Г. Соловьёв, изображая человеческую душу томящейся по душе всемирной, изображая любовь идеальную, в которой желанья не бегут, словно тени, а обеты не пустые слова, – открыл себе безграничные горизонты новых, ещё не затронутых положений и настроений» (*Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову*. М., 1927. С. 38). В «Вестнике Европы» догадывались, что стихотворения и поэмы чем-то очень серьёзным отличаются от его предшественников, но символом Соловьёва назвали только в конце его жизненного пути. Почти все участники литературного движения знали, что в Париже открылось общество «Декадент», что появилась целая группа поэтов-символистов, выпускают сборники, устраивают дискуссии, от них отворачиваются, критикуют. И в России замелькали эти странные слова – «декадент», «символизм».

Владимир Соловьёв критически отнесся к декадентству в публикациях В. Брюсова, к их неясности и тёмным намёкам на нечто символическое, невозможно отыскать «смысл этих стихотворений по совершенному отсутствию в них всякого смысла»: «О, закрой свои бледные ноги» – это стихотворение В. Брюсова – «самое осмысленное произведение всей символической литературы, не только русской, но и иностранной» (*Вестник Европы*. 1895. № X. С. 847, 849).

Владимир Соловьёв печатал в журнале не только свои стихотворения, яркой публицистикой на различные темы привлекал он внимание редакции и читателей. Он выступал против Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, П.Д. Боборыкина. Его статьи «Первый шаг к положительной эстетике», «Судьба Пушкина», «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», «Национальный вопрос», «Византизм и Россия», «Оправдание добра», «Три разговора», о А.А. Голенищеве-Кутузове, Ф.И. Тютчеве, А.К. Толстом, М.Ю. Лермонтове вызвали острую полемику, особенно статьи о Пушкине. В 1900 году критик К.А. Арсеньев, полемизируя с декадентами и символистами, которые к этому году вполне сформировались и называли В. Соловьёва символом, писал: «В этом есть небольшая доля правды; но символизм Вл. С. Соловьёва не носит на себе признаков вырождения. Он свободен и от претензий выразить невыразимое, воспроизвести неуловимое, и от систематической погони за новизной, хотя бы это была новизна бессмыслия и изломанности. Такие пьесы, как «Милый друг, иль ты не знаешь», «Земля владычица», «Хоть мы навек незримыми цепями», «На поезде утром», «Стая туч на небосклоне», «На том же месте», «Белые колокольчики», многие обращения к финляндской природе (особенно к озеру Сайма), могут, пожалуй, быть названы символическими; но они прежде всего поэтичны, их настроение передаётся непосредственно и просто, а не путём преднамеренно-«суггестивных» звуков или красок» (*Вестник Европы*. 1900. № IX. С. 410).

Лев Толстой внимательно следил за публицистикой В. Соловьёва. Ещё в октябре 1890 года Н.Н. Страхов прислал ему книги, за которые Толстой благодарит его. Вместе с тем выражает сожаление, что прочитал критическую статью Соловьёва «Мнимая борьба с западом» (*Русская мысль*. 1890. № 8) о националистической теории Н.Я. Данилевского в книге «Россия и Европа», которую отстаивал Н. Страхов в книге «Борьба с Западом в нашей литературе». С полемикой против статьи В. Соловьёва ещё раз Н. Страхов выступил в статье «Новая выходка против книги Н.Я. Данилевского» (*Новое время*. 1900. 21 сентября): «Ваши

статьи, простите, прочёл с грустью, хотя и понимаю ваше раздражение и удивляюсь на Соловьёва» (*Толстой Л.Н. Собр. соч.*: В 22 т. М., 1984. Т. 19–20. С. 204).

Лев Толстой осудил статью В. Соловьёва «Смысл войны. Из нравственной философии» (Ежемесячные литературные приложения к «Ниве». 1895. № 7): «Уж очень скверно то, что написал Соловьёв», здесь Соловьёв оправдывал войны, в которых есть «историческая польза», Толстой осуждал Соловьёва и за чрезмерное восхваление, апологию государства.

Лев Толстой с одобрением отнёсся к критике книги В. Соловьёва «Оправдание добра» (М., 1897), в которой автор расхваливает церковь, государство, охранительные государственные средства, полицию и войска.

Были и статьи В. Соловьёва, которые читали и Лев Толстой, и Софья Андреевна и высказывали резко противоположные мнения о прочитанном, настолько был глубок и разнохарактерен взгляд философа, критика и поэта, честно говорящего то, что думал. Он даже ставил Стасюлевичу условие прежде ставить в номер отредактированный им из-за цензурных строгостей текст, а в следующем номере давать поправку и печатать то, что написал автор; и редактор исполнил свои редакторские функции, угодил цензуре, и автор сказал то, что хотел сказать.

2

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) одним из первых почувствовал, что «дети, возвращенные «людьми шестидесятых годов», отказываются от наследства своих отцов, от солидарности с ними и идут искать каких-то новых путей жизни, другой «правды», как писал В.В. Розанов в статье «Почему мы отказываемся от «наследства 60—70-х годов»?» (Московские ведомости. 1891. № 185). В октябре 1892 года в Русском литературном обществе Петербурга Мережковский прочитал лекцию «О причинах упадка русской литературы», а чуть позднее вторую – «О новых течениях современной русской литературы», обе вошли в книгу «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (СПб., 1893), которую вскоре стали называть манифестом нового литературного направления – символизма, модернизма, декадентства, по вкусу критиков и участников этого движения. По описанию биографов, А.М. Скабичевский, Н.К. Михайловский, Ю.Н. Говоруха-Отрок и др., верные своим традиционным взглядам, книгу встретили критически.

В это время Мережковский и его жена З.Н. Гиппиус (1869–1945) сблизилась с редакцией журнала «Северный вестник», укрепившейся благодаря инициативе и средствам Л.Я. Гуревич и А.Л. Волынского (настоящие имя и фамилия Хаим Лейбович Флексер, 1861–1926).

Любовь Яковлевна Гуревич (1866–1940), дочь известного педагога, получила хорошее филологическое образование, писала рассказы, переводила, перевела с латинского «Переписку» Спинозы (СПб., 1891), на паях приобрела в 1891 году журнал «Северный вестник», вскоре стала полной хозяйкой журнала и предоставила Волынскому широкую свободу публикаций вплоть до закрытия журнала в 1899 году. Ещё в 1887 году, бывая в кружке секретаря журнала «Северный вестник» А.А. Давыдовой, познакомилась с Н.М. Минским (Виленкин, 1856–1937), Д. Мережковским, А. Волынским. Бывала у Л. Толстого, переписывалась, печатала его сочинения в «Северном вестнике». Приглашала к сотрудничеству Н. Лескова, В. Стасова, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, М. Горького.

Мережковский, анализируя классиков отечественной литературы, вместе с тем обрушился на «душающий мертвенный позитивизм» последнего времени и провозгласил торжество «художественного идеализма», «выделяя три определяющих элемента нового искусства – мистическое содержание, символы и расширение «художественной впечатлительности» (Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1999. С. 19).

А.М. Скабичевский назвал Мережковского «изменником родной русской литературе», а Михайловский упрекнул его в том, что он принимает «миражи за действительность». Мереж-

ковский печатает сборники стихотворений «Новые стихотворения. 1891–1895» (СПб., 1896) и «Дети ночи», которые были резко отрицательно приняты традиционной журнальной общественностью, поняты как «печального приспешника клики декадентов» (Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива». 1896. № 9. С. 210).

Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), окончивший историко-филологический факультет Московского университета, рано узнал французских символистов, понял, что это «путеводная звезда» будущей поэзии, и решительно заявил, что будет вождём этого поэтического направления. В 1894–1895 годах издал три сборника «Русские символисты» преимущественно из своих собственных стихов, одновременно перевёл и издал сборник Поля Верлена «Романсы без слов» (М., 1894). Здесь было много путаного, бессвязного, торопливого, но слова эти прозвучали, обещая что-то новое и таинственное.

В это же время обратил на себя внимание Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942), окончивший Владимирскую гимназию, учившийся на юридическом факультете Московского университета и в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. Юриста из Бальмонта не получилось, он увлёкся литературой, в 1885 году в журнале «Живописное обозрение» опубликовал три стихотворения, познакомился с В.Г. Короленко, занялся переводами с английского, немецкого, французского языков, Гейне, Мюссе, Сюлли-Прюдом; затем покорила его скандинавская поэзия, он переводит Брандеса, Ибсена, Бьёрсона. На собственные средства он в 1890 году в Ярославле издал книгу «Сборник стихотворений», в 1894 году перевёл и опубликовал «Историю скандинавской литературы» Ф.В. Горна. В 1894 году в Петербурге появляется сборник стихотворений Бальмонта «Под северным небом», который во многом сближает его с Мережковским и Брюсовым. Следующий сборник стихотворений Бальмонта «В безбрежности», вышедший в Москве в 1895 году, как и первый, пронизан явлением западноевропейской стихотворной эстетики; та же неопределённость, безбрежность, загадочность в формулах и словах, над реальной жизнью торжествуют сновидения и призрачность.

В 1894 году Бальмонт сблизился и подружился с В. Брюсовым, три года они были, как свидетельствуют мемуаристы, «друзьями-братьями», но потом, после многочисленных споров о путях развития русской литературы, их дороги разошлись.

В 1897 году Бальмонт женился и вместе с женой уехал за границу, жил во Франции, Испании, Голландии, Англии, Италии, изучал языки, культуру, читал в Оксфорде цикл лекций о русской поэзии, готовил сборник своих стихотворений к изданию: в Петербурге в 1898 году вышел сборник «Тишина», в котором определённо зазвучали «декадентские» мотивы. Мощно повлиял на поэзию Бальмонта популярный в то время немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900), проповедавший культ сильного человека («Так говорил Заратустра», 1883–1884), не признававший добра и зла в своих поступках, проповедовал имморализм, отрицание нравственных чувств и качеств человека.

После заграничных путешествий К. Бальмонт жил в Петербурге, близко сошёлся с кругом символистов – Мережковским, Сологубом, Гиппиус, Минским, а в Москве продолжал творческие отношения с Брюсовым, Ю.К. Балтрушайтисом и С.А. Поляковым, создавшим издательство «Скорпион», а затем и журнал «Весы». «Скорпион» и «Весы» – два творческих центра символистов, которые утвердились в России. Но это было гораздо позднее. А пока у декадентов и символистов возникали проблемы издания своих сочинений. Брюсов и Бальмонт, как преуспевающие люди, издавали книги за свой счёт, а Мережковскому, написавшему роман «Юлиан Отступник», трудно было пробиться в журналы, «Вестник Европы» с его строгими либеральными позициями произведение печатать отказался, как и следующий роман о Леонардо да Винчи. Мережковский прочитал его в одном литературном салоне, и вещь понравилась. Слухи о романе пошли по Петербургу.

Зинаида Гиппиус случайно встретила нового редактора «Северного вестника» Акима Волинского, разговорились, Волинский говорил о новых задачах своего журнала. Он намерен

был печатать молодых писателей, и его заинтересовала судьба романа Мережковского. «Это был худенький, маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный, – вспоминала З. Гиппиус в книге о Мережковском. – Он, впрочем, еврейства своего не скрывал (как Льдов-Розенблюм), а, напротив, им даже гордился». Мережковский передал роман в «Северный вестник». Но то, как готовил Флексер роман к набору, поразило Мережковских: «Флексер распоряжался текстом без больших церемоний: он пришёл к нам с рукописью, которую брал читать, и, почти грубо (может быть, он просто и держать себя не умел?) указывал на отмеченные куски: «Это – вон! Вот это тоже вон!» Чем он свои «вон» мотивировал – совершенно не помню.

В результате роман «Юлиан Отступник», первый в трилогии, появился в «Северном вестнике» в урезанном и местами искажённом виде» (Дмитрий Мережковский. М., 1991. С. 331). «Смерть богов (Юлиан Отступник)» (первоначальное название «Отверженный») была напечатана в «Северном вестнике» в 1895 году, № 1–6. Это был IV век Римской империи, император Юлиан стремится восстановить языческие культы и отвергнуть христианство, которое уже глубоко проникло в быт и нравы империи.

Зинаида Гиппиус читала журнал «Северный вестник», особое внимание обращала на сочинения Вольтерра-Флексера, но попадались и стихотворения, которые могли бы украсить любой журнал, она одна из первых заметила стихотворения Фёдора Сологуба, «который без «Сев. Вест.» не скоро пробил бы себе дорогу». «Однако в том же Флексере были черты, – писала З. Гиппиус, – которые не могли, в конце концов, не привести нас к разрыву с ним. Его самоуверенность прежде всего. Со второго года он начал писать в журнале литературную критику, из месяца в месяц. И вот каждый раз по выходе книги у меня начиналась с ним очередная ссора... Я протестовала даже не столько против его тем или мнений, сколько... против невозможного русского языка, которым он писал». Флексер возмущался этой критикой, убеждал её, что есть и такие читатели, которые «хвалят». Гиппиус говорила, что «евреям очень трудно писать, не имея своего собственного, родного языка». Древнееврейского они не знают, а писать на жаргоне не хотят. «Всё это я ему высказывала совершенно просто, в начале наших добрых отношений, повторяю – с наивностью, без всякого антисемитизма, а как факт, и с сожалением даже к судьбе писателей-евреев. И была испугана его возмущенным протестом» (Там же. С. 334).

А. Вольтерр писал много, выбирал полемические темы и придерживался своей линии. Вольтерр написал монографию о Н.С. Лескове, кое с чем можно было согласиться. Прослежен весь творческий путь писателя, представлены и проанализированы чуть ли не все его сочинения, но как только Вольтерр касается романов «Некуда» и «На ножах», тут ему изменяет объективность и чувство вкуса. Роман «Некуда» был опубликован в апреле 1863 – декабре 1864 года под псевдонимом М. Стебницкий, потом роман ещё пять раз переиздавался, вокруг произведения шла либеральная полемика, и Вольтерр полностью поддержал тех, кто критиковал роман. Н. Лесков выступил против «нигилистов», которые пророчески заявляли о торжестве революционных форм в России, Лесков придерживался эволюционного взгляда на перемены в обществе, без кровопролития и грабежей. Доктор Розанов, положительный герой романа, утверждал, что надо испытать все мирные средства, а не подводить народ под страдания, никакими форсированными маршами мы ничего не добьемся. Революционеры готовы были «пять миллионов вырезать», а остальным доставить «счастье». Нигилисты «мутоврят народ», пытаются разрушить нравственные основы общества. Всему этому противостоит Н. Лесков. Ничего этого не увидел в романе А. Вольтерр. Н. Лесков, оправдываясь, говорил, что он описал лишь одну Знаменскую коммуну, которой руководил Слепцов, что эти образы – всего лишь «фотографии». И у каждого из персонажей есть свой прототип. Но критика продолжала свой «разгром». А. Вольтерр продолжил эти традиции. Вот фигура Райнера, прототипом которого был Бенни. «Все произведение написано извне, – критикует роман «Некуда»

А. Волынский, – без осторожного и тонкого прозрения в душу людей. Нарисован «пламенный» демократ по убеждениям, но читатель не видит его внутреннего мира. Лесков, который имел общение с Бенни, знал разные интимные стороны его жизни, не посягал и не чувствовал интимных основ его натуры, которая для романиста должна была представлять наибольший интерес.

С таким же несовершенством нарисована Лиза Бахарева... Лесков вносил в свой роман ходячие анекдоты, сплетни и собственные каверзные измышления, которые не открывают надёжных путей в глубину человеческих душ, если писатель прибегает к литературному оружию не для отыскания правды, а для того, чтобы излить свои накопившие страсти и пристрастия. В романе отсутствует то настоящее искусство, которое оправдывает пользование человеческими документами, которое видит под мутным покровом жизни снятые борения пытливого и страдающего духа... Именно в изображении этого «Дома согласия» (руководитель Василий Слепцов. – *В. П.*) пасквиль, отравленный бессознательным ябедничеством, бьет в глаза и производит отгалкивающее впечатление. Искусство почти совсем исчезает на этих страницах романа, оставляя грязную накипь злорадных наблюдений, и цинизм, замаскированный моральными обличениями.

В противоположность роману «Некуда», в котором местами прорывается, по крайней мере, сильный темперамент Лескова, роман «На ножах» написан с неимоверной тягучестью и, как это ни странно, без сколько-нибудь заметного таланта...» (Н.С. Лесков. СПб., 1898. С. 158–161).

В писаниях А. Волынского заметен был острый взгляд на проблему еврейского персонажа в романах Н. Лескова. Бенни с еврейской кровью, и позорно для такого таланта, как Лесков, что образ получился бледным; литератор Кишенский – тёмный делец, «жид» – изображён «в духе юдофобски обличительных романов Вс. Крестовского» (Там же. С. 162). «Лескову не удалось создать ни единого живого лица. Как художественное литературное явление, роман не существует» – таков поразительный итог размышлений А. Волынского о двух романах Н.С. Лескова. Всё это тоже постоянно отражалось в разговорах и приятельском общении.

* * *

В кругу русских интеллигентных людей не было даже помина на антисемитизм, только в начале 90-х годов в газете «Новое время» Суворина начали появляться статьи талантливого поэта, сатирика и журналиста Виктора Петровича Буренина (1841–1926). Внук крепостного, сын архитектора, он остро критически писал об общественных неурядицах, в том числе о евреях и еврейских проблемах в государстве Российском. «Начал с Надсона, – вспоминала Гиппиус, – и особые поклонники Надсона уверяли даже, что от его фельетонов Надсон и умер, хотя известно, что этот болезненный офицер (Д.С. его хорошо знал) умер от чахотки. Да и что это за писатель, который может умереть от критического фельетона! Нововременский критик не щадил никого, но евреев преследовал в особенности. Не щадил он и нас с Д. Серг., но был так остроумен, что его фельетоны, его пародии, касались ли они нас или того или другого еврея, не могли нас не забавлять» (Там же. С. 335). В это же время З. Гиппиус и Д. Мережковский, который начал работать над романом о Леонардо да Винчи, собрались поехать в Италию. Флексер упросил их взять его с собой, итальянского он не знал, и с ним происходило «немало комичных эпизодов», когда он «не умел отличить статую от картины», когда он по совету Мережковского взял книгу Макиавелли и во время прогулки по окрестностям Флоренции сидел в экипаже и читал книгу, что, естественно, раздражало интеллигентную даму. Вскоре последовал и разрыв с Флексером: «Я наконец совсем, и резко, отказалась печататься в «Сев. Вест.» из-за отвращения к уродливым статьям Ф-ра. М.б., это было глупо, но его язык оскорблял моё эстетическое чувство» (Там же. С. 338). Разошлась с «Северным вестником» не только З. Гиппиус, но и

Д. Мережковский, роман которого о Леонардо был отвергнут по принципиальным соображениям, Волынский выступил против «утонченнейшего язычника Леонардо да Винчи» за торжество «христианского идеализма». Покидали журнал и другие символисты.

Но «Северный вестник» по-прежнему возглавлял Волынский, и, как пишут многочисленные исследователи, он никому не уступал первенства в журнале, критиковал почти всех сторонников модного течения, проявлял известную ревность: «Волынский хотел быть единственным наставником нового течения» (*Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века. 1890–1904. М. С. 123*). В статье «О символизме и символистах» А. Волынский писал: «В их неясно обозначающихся талантах, шатающихся из стороны в сторону, в их смутных исканиях новых форм и ощущений я сочувственно выделял только то, что могло развиваться в художественный идеализм, открыто осуждая и отшвыривая все враждебное идеализму, а следовательно, истинному символизму...» (Северный вестник. 1898. № 10–12. С. 175). Предчувствуя скорую гибель журнала, Волынский думал и надеялся на прилив молодых писателей, он хорошо написал о Горьком, первые рассказы которого были напечатаны в журнале, увидев в его творчестве «отблески ибсеновских настроений и ницшеанских идей», но союза с Волынским у Горького не получилось, Горький увидел в нём носителя диктаторских полномочий, капризного редактора, человека, склонного навязывать свою точку зрения по любому вопросу.

Особенно резво Волынский начал полемику против авторов только что возникшего журнала «Мир искусства», первый номер которого вышел в ноябре 1898 года. Журнал был организован любителями, художниками, общественными деятелями. Валентин Серов, Александр Бенуа, Сергей Дягилев, Лев Бакст, Константин Сомов, Дмитрий Философов... Один из самых деятельных художников и литераторов Александр Бенуа предполагал, что журнал займётся борьбой с упадком и «всякой сорной травой (хотя бы модной)». Редакция сразу разбилась на два лагеря: к правым относились С. Мамонтов и М. Тенишева, издатели, Д. Философов, к левой – В. Серов, К. Коровин, Л. Бакст, В. Нувель, председатель редакции С. Дягилев занимал нейтральную позицию, сначала преимущественно помалкивал, но в ход дискуссий вмешивался, сохраняя деликатную позицию выяснения истины.

В журнале принимали участие художники и критики – И. Грабарь, М. Добужинский, В. Кандинский, А. Остроумова-Лебедева, С. Волконский, А. Коптяев, Г. Ларош, И. Фомин, А. Шервашидзе, С. Яремич. В журнал отдавали свои сочинения Д. Мережковский, Н. Минский, З. Гиппиус, В. Розанов, П. Перцов, Л. Шестов, К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Белый, Ф. Сологуб, С. Андриевский, Рцы (И. Романов), П. Гнедич, П. Николаев, К. Ч. (К. Чуковский) и др. Владимир Соловьёв опубликовал в журнале две статьи.

В 1897–1898 годах Лев Толстой опубликовал трактат «Что такое искусство?», поднявший целую бурю откликов в печати, в лекциях, обсуждениях. Возникают новые художественные объединения, союзы художников, В. Плеханов издаёт книгу «Письма без адреса», в которой развивает основы материалистической эстетики.

Всё молодое, талантливое, противостоящее рутине, старым вкусам в борьбе за новое содержание и новые формы, принимало участие в работе журнала, хотя не всё, что публиковалось в журнале, было по сердцу членам редакции. Декларацию журнала «Мир искусства» изложил Сергей Дягилев в статье «Сложные вопросы» (1899. № 1–2, 3–4), в которой выступил за свободного художника, не подчиняющегося никакому направлению и полезной цели, выступил против «противохудожественной теории социализма»: личность творца должна быть свободна как от художественных воззрений Льва Толстого, так и Чернышевского, но «искусство и жизнь нераздельны». Вместе с тем С. Дягилев критикует и Гюисманса, О. Уайльда, Э. По, а с другой стороны, резко обрушивается и на Золя и его последователей, которые проникли в «брюхо своего Парижа», но полной жизни и красоты так и не добились.

Полемика развернулась острая и широкая, захватив чуть ли не все круги образованной интеллигенции. На «Сложные вопросы» С. Дягилеву кто только не отвечал в своих резких откликах: Владимир Стасов в своих памфлетах обещал «миriskусникам» «непримиримую вражду», он был известный защитник передвижников и композиторов «Могучей кучки», выступил Репин и сразу против него выступил С. Дягилев, выступили против декларации журнала критики «Русской мысли», «Жизни», журнала «Мир Божий». Резко выступил против мирискусников Аким Волынский на страницах «Северного вестника» (1898. № 8/9). «Мир искусства» тут же ответил рецензией на книгу Волынского «Борьба за идеализм», в которой увидели только «школьную мудрость, сухую и неглубокую». Резко выступили против «Мира искусства» Мережковский, Минский, Розанов как защитники проповеднической литературы и философии. Дягилев, Бенуа и другие мирискусники категорически возражали, чтобы Мережковский, блестящий эрудит, великолепный оратор, был воспитателем художников, чему-нибудь учил их. В своих воспоминаниях А. Бенуа ещё чётче выразил протест против того, чтобы их кто-нибудь, в том числе и Мережковский, чему-то учил, к чему-то призывал, «что-то тоном негодующего пророка громил» (Мои воспоминания. Кн. 4–5. С. 47).

Сохранились письма Дягилева и Стасова, в которых Дягилев просит Стасова прекратить свою деятельность в качестве литературного и художественного критика: «Между вами и мною в годах 50 лет разницы, поэтому, берясь за перо, чтобы ответить на ваши длинные и обстоятельные строки (Новости. № 27), где десяток раз упоминалось вами мое имя, я чувствую какое-то невольное ощущение стеснения... Мы все издавна привыкли уважать в вас крупную единицу только что пережитой крупной эпохи, эпохи, перед которой мы не можем не преклоняться: мы индивидуалисты и поборники всякого яркого проявления личности во имя каких бы принципов это ни было... В продолжение чуть ли не полувека вы имели громадную силу содействовать возведению на пьедестал одних и отбрасыванию к забвению других. Вспомните расцвет вашей деятельности, вспомните Крамского, Репина, Антокольского, передвижные выставки...» А теперь, продолжает Дягилев, вы просто устали, вы полностью высказались о прежнем искусстве, а теперь всё новое искусство вы относите к декадентствующему, оно вам не нравится, вы его отбрасываете, как соринку.

Получив это письмо Дягилева, Стасов забеспокоился и поехал выяснять к журналисту Г. Нотовичу, почему он не напечатал это письмо Дягилева. Г. Нотович вместе со своими друзьями М.М. Антокольским и Элиасом (И.Я. Гинцбург), которые были в курсе событий, приняли его. «Я стал *упрашивать* Нотовича, – писал В.В. Стасов 3 февраля 1898 года брату Д. Стасову, – чтобы он напечатал статью Дягилева и с моими коротенькими (но сильными) на неё ответами: он ни за что не хотел. Говорил, что *и публике и газете и мне* это было бы вредно! Я не соглашался, спрашивая снова, говоря, что у меня от этого не тронется даже и волосок, а Дягилева я *растопчу* – нет, ничто не помогало, а Нотович не соглашался тем более, что ему помогали в том и Антокольский и Гинцбург. Я так и уехал. А сегодня утром отослал Дягилеву его статью с маленькой записочкой» (Письма к родным. Т. 1. Ч. 1. С. 206–207).

Но это только начало острой полемики между Дягилевым и Стасовым.

К 100-летию юбилею А.С. Пушкина были опубликованы разноречивые статьи В. Соловьёва, Д. Мережковского, Н. Минского, В. Розанова, Ф. Сологуба, П. Перцова, Д. Филофова, А. Богдановича...

Большое значение приобрели в журнале «Мир искусства» статьи Льва Шестова (Лев Исаакович Шварцман, 1866–1938), которые вскоре вошли как основа в книгу «Апофеоз беспочвенности» (1905). Лев Шестов тоже выделялся самостоятельностью мышления, родился в России, но чаще всего жил в Швейцарии и Франции, где проникся воздействием свободы и независимости. Он восстал против зависимости свободного человека от диктата банальных истин и общеобязательных нравственных норм. Его тезис – ежедневно происходит «философия трагедии», в центре которой – абсурдность человеческого существования. П. Перцов

только что положительно оценил книгу Л. Шестова «Добро и зло в учении Льва Толстого и Ницше» (Пг., 1900). Лев Шестов откликнулся и на сочинение Д. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», которое подверг критике Н. Михайловский, а защитил В. Розанов. Шестов осудил Мережковского за попытку создания своей религии, желание сформулировать проповедь и систему. «Стремясь размежеваться с Мережковским и его группой, – писала И.В. Корецкая, – Шестов сразу заявил о своем неприятии эстетического утилитаризма; идея автономии искусства звучала во вступлении к «Философии трагедии» столь же демонстративно, как и в декларациях Дягилева, открывавших журнал. «...Задача искусства... не в том чтобы покориться регламентации и нормировке, – писал Шестов, – ...а в том, чтобы порвать цепи, тяготеющие над рвущимся к свободе человеческим разумом» (Мир искусства. 1902. № 2. С. 76).

«До сих пор неизвестный» автор (Л. Шестов только что прибыл из-за границы), писал П. Перцов в своей рецензии на только что вышедшую книгу Л. Шестова «Добро и зло в учении Льва Толстого и Ницше», талантливо определил «относительное могущество и значение критерия истины и добра в нашем мирозерцании» и противопоставил мистическому истолкованию мира писателя, на котором настаивал Мережковский, мир экзистенциализма: зрелый нравственный уровень Достоевского и этика Ницше в чём-то существенном совпадают, выражая «философию трагедии», отчаяние и безысходность человеческого существования, в чем-то существенном Достоевский и Ницше по своим внутренним переживаниям и опыту – братья-близнецы (Там же. С. 83).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.